



**В. М. Гаршин**  
сочинения

**Всеволод Михайлович Гаршин**

**Надежда Николаевна**

Всеволод Михайлович Гаршин (1855–1888) — писатель глубокого и яркого дарования. И хотя написано им немного, проза его неизменно вызывает читательский интерес. А. М. Горький пронизательно сказал о Гаршине: «Лицо почти героическое, изумительной искренности, великой любви сосуд живой».

В сборник вошли известные рассказы: «Четыре дня», «Ночь», «Денщик и офицер» и др., а также очерки, статьи в письма писателя.

В. М. Гаршин. Сочинения. Издательство «Советская Россия». Москва. 1984.

# Содержание

I . . . . .	.0005
II . . . . .	.0009
III . . . . .	.0016
IV . . . . .	.0026
V . . . . .	.0038
VI . . . . .	.0046
VII . . . . .	.0052
VIII . . . . .	.0059
IX . . . . .	.0066
X . . . . .	.0073
XI . . . . .	.0079
XII . . . . .	.0085
XIII . . . . .	.0092
XIV . . . . .	.0097
XV . . . . .	.0102
XVI . . . . .	.0106
XVII . . . . .	.0117
XVIII . . . . .	.0127
XIX . . . . .	.0130
Комментарий . . . . .	.0141

**Всеволод Гаршин**  
•  
**Надежда Николаевна**

Я давно хотел начать свои записки. Странная причина заставляет меня взяться за перо: иные пишут свои мемуары потому, что в них много интересного в историческом отношении; другие потому, что им еще раз хочется пережить счастливые молодые годы; третьи затем, чтобы покляузничать и поклеветать на давно умерших людей и оправдаться перед давно забытыми обвинениями. Ни одной из этих причин у меня нет. Я еще молодой человек; истории не делал и не видел, как она делается; клеветать на людей незачем и оправдываться мне не в чем. Еще раз пережить счастье? Оно было так коротко, и конец его был так ужасен, что воспоминания о нем не доставят мне отрады, о нет!

Зачем же точно неведомый голос нашептывает мне их на ухо, зачем, когда я просыпаюсь ночью, передо мною в темноте проходят знакомые картины и образы, и зачем, когда является один бледный образ, лицо мое пылает, и руки сжимаются, и ужас и ярость захватывают дыхание, как в тот день, когда я стоял

лицом к лицу с своим смертельным врагом?

Я не могу отделаться от своих воспомина- ний, и странная мысль пришла мне в голову. Может быть, если я изложу их на бумаге, я этим покончу все свои счеты с ними... Может быть, они оставят меня и дадут спокойно умереть. Вот странная причина, заставляющая меня взяться за перо. Может быть, эта тетрадка будет прочтена кем-нибудь, может быть — нет. Это мало занимает меня. Поэтому я могу и не извиняться перед своими будущими читателями ни в выборе темы для своего писания, темы, нисколько не интересной людям, привыкшим заниматься если не мировыми, то общественными вопросами, ни в форме изложения. Правда, мне хочется, чтобы эти строки прочел один человек, но этот человек не осудит меня. Ему дорого все, что меня касается. Этот человек моя сестра.

Отчего она сегодня так долго не идет? Вот уже три месяца, как я пришел в себя после того дня. Первое лицо, которое я увидел, было лицо Сони. И с тех пор она проводит со мной каждый вечер. Это сделалось для нее какой-то службой. Она сидит у моей постели или у

большого кресла, когда я в силах сидеть, разговаривает со мною, читает вслух газеты и книги. Ее очень огорчает, что я равнодушен к выбору чтения и предоставляю его ей.

— Вот, Андрей, в «Вестнике Европы» новый роман: «Она думала, что это не так».

— Хорошо, голубчик, будем читать «Она думала, что это не так».

— Роман миссис Гей.

— Хорошо, хорошо...

И она начинает читать длинную историю о каком-то мистере Скрипле и мисс Гордон и после первых двух страниц обращает на меня свои большие добрые глаза и говорит:

— Это недолго; «Вестник Европы» всегда сокращает романы.

— Хорошо, хорошо. Я буду слушать.

Она продолжала читать обстоятельную историю, выдуманную госпожою Гей, а я смотрю на ее опущенное лицо и не слушаю назидательной истории. И иногда, в тех местах романа, где, по замыслу госпожи Гей, нужно бы было смеяться, горькие слезы душат мне горло. Она оставляет книгу и, посмотрев на меня пронизательным и боязливым взглядом, кла-

дет мне на лоб свою руку.

— Андрей, милый, опять... Ну, будет, будет. Не плачь. Все пройдет, все забудется... — говорит она тем тоном, каким мать утешает ребенка, набившего себе на лбу шишку. И хотя моя шишка пройдет только с жизнью, которая — я чувствую — понемногу уходит из моего тела, я все-таки успокаиваюсь.

О моя дорогая сестра! Как я чувствую цену этой женской ласки! Да благословит тебя бог, и пусть черные страницы начала твоей жизни, страницы, на которых вписано мое имя, — сменятся радостной повестью счастья!

Только пусть эта повесть не будет похожа на утомительное повествование миссис Гей.

Звонок! Наконец-то! Это она; она придет, внесет в мою темную и душную комнату запах свежести, нарушит ее молчание тихую, ласковою речью и осветит ее своею красотою.

Я не помню своей матери, а отец умер, когда мне было четырнадцать лет. Мой опекун, дальний родственник, перевел меня в одну из петербургских гимназий; через четыре года я кончил в ней курс. Я был совершенно свободен; опекун, человек, занятый своими огромными делами, в своих заботах обо мне ограничивался только выдачей мне денег, в количестве, по его мнению, необходимом для того, чтобы я не бедствовал. Это был не очень большой доход, но совершенно избавлявший меня от забот о куске хлеба и позволивший мне выбрать себе дорогу.

Выбор был сделан давно. Лет четырех я любил больше всего на свете возиться с карандашами и красками, а к концу курса в гимназии рисовал уже очень порядочно, так что без всяких затруднений поступил в Академию художеств.

Был ли у меня талант? Теперь, когда я уже никогда не подойду к холсту, я, кажется, могу беспристрастно взглянуть на себя как на художника. Да, у меня был талант. Я думаю так

не по отзывам товарищей и знатоков, не по быстроте, с какою я прошел курс академии, а по тому жившему во мне чувству, которое являлось всякий раз, когда я начинал работать. Тот, кто не художник, не может испытать тяжелого и сладкого волнения, с каким первый раз приступаешь к новому холсту, чтобы начертить на нем свое создание. Тот, кто не художник, не может испытать забвения всего окружающего, когда дух погружен в образы... Да, у меня был талант, и я вышел бы недюжинным живописцем.

Вот они висят по стенам — мои холсты, этюды и эскизы, неоконченные, начатые картины. Вот и она... Нужно попросить сестру, чтобы ее убрали в другую комнату. Или нет, нужно повесить ее как раз в ногах моей постели, чтобы она всегда смотрела на меня своим грустным, как будто чующим казнь, взором. В синем платье, в нарядном белом чепчике с большой трехцветной кокардой сбоку, с выбившимися из-под его белой оборки густыми волнующими меня прядями темно-каштановых волос, она смотрит на меня, как живая. О Шарлотта, Шарлотта! Благослов-

лять или проклинать тот час, когда мне пришла в голову мысль написать тебя?

А Бессонов был всегда против этого. Когда я в первый раз сказал ему о своем намерении, он пожал плечами и недовольно усмехнулся.

— Шальные вы люди, господа российские живописцы, — сказал он. — Мало у нас своего! Шарлотта Корде! Какое вам дело до Шарлотты? Разве вы можете перенести себя в то время, в ту обстановку?

Может быть, он был и прав... Но только образ французской героини так занимал меня, что я не мог не приняться за картину. Я задумал написать ее во весь рост, одну, стоящую прямо перед зрителями, с глазами, устремленными перед собой; она уже решилась на свой подвиг-преступление, и это написано только на ее лице: рука, которая несет смертельный удар, пока еще висит бессильно и нежно выделяется своею белизною на темно-синем суконном платье; кружевная пелеринка, завязанная накрест, оттеняет нежную шею, по котцрой завтра пройдет кровавая черта... Я помню, как ее образ созданся в моей душе... Я прочел ее историю в одной сенти-

ментальной и, может быть, лживой книге, у Ламартина; из ложного пафоса болтливой и любующегося своим языком и манерой француза для меня ясно и отчетливо вышла чистая фигура девушки фанатика добра. Я перечитал о ней все, что мог достать, пересмотрел несколько ее портретов, и решился написать картину.

Первая картина, как первая любовь, овладевает душою вполне. Я носил в себе этот слававшийся образ, я обдумывал мельчайшие подробности и дошел, наконец, до того, что, закрыв глаза, мог ясно представить себе свою Шарлотту.

Но, начав картину со счастливым страхом и радостным волнением, я сразу встретил неожиданное и трудно одолимое препятствие: у меня не было натурщицы.

То есть они, собственно говоря, были. Я выбрал, как, мне показалось, наиболее подходящую из нескольких особ, занимающихся этим делом в Петербурге, и начал усердно работать. Но, боже мой, как не похожа была эта Анна Ивановна на взлелеянное мною создание, так ясно представлявшееся моим закры-

тым глазам! Она позировала прекрасно, она не шевелилась по часу и добросовестно зарабатывала свой рубль, чувствуя большое удовольствие от того, что ей можно было стоять на натуре в платье и не обнажать своего тела.

— Так хорошо это в платье позировать! А то другие уж смотрят, смотрят, всю-то глазами обыщут... — сказала она мне со вздохом и легкой краской на лице на первом сеансе.

Она сделалась натурщицей всего только месяца два и не могла еще привыкнуть к своему ремеслу. Русские девушки, кажется, и никогда не могут к нему привыкнуть.

Я написал ее руки, плечи и стан, но когда принялся за лицо, отчаяние овладело мною. Пухленькое молодое лицо, с немного вздернутым носом, добродушными серыми глазками, доверчиво и довольно жалобно смотревшими из-под совершенно круглых бровей, заслонило мою мечту. Я не мог пересоздать эти неопределенные и мелкие черты в то лицо. Я бился с своей Анной Ивановной три или четыре дня и, наконец, оставил ее в покое. Другой натурщицы не было, и я решился сделать то, чего во всяком случае делать не следова-

ло: писать лицо без натуры, из головы, «от себя», как говорят художники. Я решился на это потому, что видел в голове свою героиню так ясно, как будто бы я видел ее перед собой живою. Но когда началась работа, кисти полетели в угол. Вместо живого лица у меня вышла какая-то схема. Идее недоставало плоти и крови.

Я снял холст с мольберта и поставил его в угол лицом к стене. Неудача сильно поразила меня. Помню, что я даже схватил себя за волосы. Мне казалось, что и жить-то не стоит, задумав такую прекрасную картину (а как она была хороша в моем воображении!) и не будучи в состоянии написать ее. Я бросился на кровать и с горя и досады старался заснуть.

Помню, что, когда я уже забывался, позвонили: почтальон принес письмо от кузины Сони. Она радовалась тому, что я задумал большую и трудную работу, и жалела, что так трудно найти натурщицу. «Не пригожусь ли я, когда кончу институт? Подожди полгода, Андрей, — писала она, — я приеду к тебе в Петербург, и ты можешь писать с меня хоть десять Шарлотт Корде... если только во мне есть

хоть капля сходства с тою, которая, как ты пишешь, теперь владеет твоею душой».

Соня совсем не похожа на Шарлотту. Она неспособна наносить раны. Она любит больше лечить их и чудесно делает это.

И меня бы она вылечила... если бы это было возможно.

Вечером я вышел к Бессонову.

Я вошел к нему, когда он сидел, согнувшись над своим, заваленным книгами, рукописями и вырезками из газет, письменным столом. Рука его быстро ходила по бумаге: он писал очень скоро, без помарок, мелким и ровным кудреватым почерком. Он мельком взглянул на меня и продолжал писать; упорная мысль, видимо, владела им в эту минуту, и он не хотел оторваться от работы, не передав ее бумаге. Я сел на широкий, низкий и очень потертый диван (он спал на нем), стоявший в тени, и минут пять смотрел на него. Его правильный, холодный профиль мне был хорошо знаком: не раз я зачерчивал его в свой альбом, однажды даже написал с него этюд красками. Этого этюда у меня нет: он послал его матери. Но в этот вечер, потому ли, что я уселся в тени, а он был хорошо освещен ярко падавшим на него светом лампы с зеленым стеклянным абажуром, или потому, что нервы у меня были расстроены, его лицо как-то особенно привлекало мое внимание. Я

смотрел на него и разбирал его голову по деталям, исследовал малейшие черты, до сих пор ускользавшие от меня. Его голова была бесспорно головой сильного человека. Может быть, не очень талантливого, но сильного.

Четвероугольный череп, почти без изгиба переходивший в широкий и мощный затылок; круто спускавшийся и выпуклый лоб; брови, опущенные на середине и сжимавшие кожу в вертикальную складку, сильные челюсти и тонкие губы — все это казалось мне сегодня чем-то новым.

— Что вы на меня так смотрите? — вдруг спросил он, положив перо и оборачиваясь ко мне лицом.

— Почему вы узнали?

— Я чувствовал. Кажется, это не предрассудок; мне не раз приходилось испытывать подобное.

— Я смотрел на ваше лицо как на модель. У вас преоригинальная голова, Сергей Васильевич.

— Право? — сказал он с усмешкою. — Ну и пусть ее.

— Нет, серьезно. Вы на кого-то похожи... из

знаменитых...

— Мошенников или убийц? — спросил он меня, не дав кончить. — Я в Лафатера не верю... Ну, что вы? По лицу вижу, что плохо. Не выходит?

— Да, не совсем хорошо. Бросил, совсем бросил... — ответил я отчаянным голосом.

— Я так и думал. Что ж, у вас, должно быть, натуры нет?

— Нет, нет и нет. Вы знаете, Сергей Васильевич, как я искал. Но все это до такой степени не то, что просто хоть в отчаяние приходи. Особенно эта Анна Ивановна; она меня совсем измучила. Она стерла своей плоской физиономией решительно все. Право, даже кажется, что и в голове-то у меня теперь тот образ не так ясен.

— А был ясен?

— О да, совершенно! Если бы можно было писать с зажмуренными глазами право, кажется, ничего лучшего не нужно. С закрытыми глазами — она здесь, вот она.

И я, должно быть пресмешным образом, зажмурился, потому что Бессонов расхохотался.

— Не смейтесь; я серьезно огорчен, — сказал я. Он вдруг оборвал свой смех.

— Огорчены, так не буду. Но, право, с вами смех и горе. Не я ли вам говорил: бросьте этот сюжет!

— Я и бросил.

— А сколько работы, траты нервной силы, сколько напрасного огорчения теперь! Я знал, что это так выйдет. И не потому, чтобы я предвидел, что вы не найдете модели, а потому, что сюжет-то неподходящий. Надо это в своей крови иметь. Надо быть потомком тех людей, что пережили и Марата, и Шарлотту Корде, и все это время. А вы что? Мягчайший русский интеллигент, вялый, слабый! Надо быть самому способным на такой поступок. А вы? Можете ли вы, когда нужно, бросить кисть и, выражаясь высоким слогом, взять кинжал? Ведь это для вас нечто вроде путешествия на Юпитер...

— Я не раз с вами спорил об этом, Сергей Васильевич, и, кажется, ни мне вас, ни вам меня не убедить. Художник на то и художник, чтобы уметь поставить в себя вместо своего я — чужое. Разве Рафаэлю нужно было быть

богородицей, чтобы написать Мадонну? Ведь это абсурд, Сергей Васильевич. Впрочем, я себе противоречу: я не хочу с вами спорить, а сам начинаю.

Он хотел что-то сказать мне, но махнул рукой.

— Ну, бог с вами! — сказал он, встал и начал ходить по комнате из угла в угол, мягко ступая войлочными туфлями. — Не будем спорить. Не будем растравлять мы язвы сердца тайной, как сказал кто-то и где-то.

— Кажется, никто и нигде,

— А и то может быть. Стихи я обыкновенно перевираю... Для утешения не приказать ли самоварчик? Пора ведь.

Он подошел к двери и громко крикнул, как кричат на ротном ученье:

— Чаю!

Я не люблю его за эту манеру обращаться с прислугой. Мы долго молчали. Я сидел, откинувшись на подушки дивана, а он все ходил и ходил. Казалось, он думал что-то... И наконец, остановившись передо мною, он спросил деловым тоном:

— А если бы у вас была натура, вы бы по-

пробовали еще раз?

— Еще бы! — уныло проговорил я. — Да где ее возьмешь?

Он опять походил немного.

— Видите ли, Андрей Николаевич... Есть тут одна... особа...

— Если важная, то она не станет позировать.

— Нет, не важная, очень неважная. Но... очень, очень большое имею я при этом «но».

— Да какие тут «но», Сергей Васильевич? Если вы не шутите?

— Шучу, шучу, этого нельзя...

— Сергей Васильевич... — сказал я умоляющим тоном.

— Послушайте, что я вам скажу. Знаете, что я ценю в вас? — начал он, остановившись передо мной. — Мы с вами почти ровесники, я старше года на два. Но я изжил и переиспытал столько, сколько вам придется изжить и переиспытать, вероятно, еще в десять лет. Я не чистый человек, злой и... развратный (он резко отчеканил это слово). Есть многие развратнее меня, но я считаю себя виновнее. Я ненавижу себя за то, что не могу быть таким

чистым, каким бы я хотел быть... как вы, например.

— О каком разврате и о какой чистоте говорите вы? — спросил я.

— Я называю вещи их собственными именами. Я часто завидую вам, вашему спокойствию и чистой совести; я завидую тому, что у вас есть... Ну, да это все равно! Нельзя и нельзя! — перебил он сам себя злым голосом. — Не будем говорить об этом.

— Если нельзя, то хоть объясните, что или кто у меня есть? — спросил я.

— Ничего... Никого... Да, впрочем, я скажу: сестра ваша, Софья Михайловна. Ведь она сестра не очень близкая по родству?

— Троюродная, — отвечал я.

— Да, трюродная. Она ваша невеста, — сказал он утвердительным голосом.

— Вы почему знаете? — воскликнул я.

— Знаю. Догадывался сначала, а теперь знаю. Узнал от матери, недавно она мне писала, — а она там как-то... Разве в губернском городе не все известно всем? Ведь правда? Невеста?

— Ну, положим.

— И с детства? Родители решили?

— Да, родители решили. Сначала для меня это было шуткой, а теперь я вижу, что так оно, кажется, и будет. Я не хотел, чтобы это сделалось известным кому-нибудь, но не особенно горюю, что это узнали вы.

— Я завидую тому, что у вас есть невеста, — тихо сказал он, устремив глаза куда-то вдаль, и глубоко вздохнул.

— Не ждал я от вас такой сентиментальности, Сергей Васильевич.

— Да, я завидую тому, что у вас есть невеста, — продолжал он, не слушая меня. — Завидую чистоте вашей, вашим надеждам, вашему будущему счастью, нерастраченной нежности и любви, выросшей с детства.

Он взял меня за руку, заставил сойти с дивана и подвел к зеркалу.

— Посмотрите на меня и на себя, — сказал он. — Ведь что вы?

Гиперион перед сатиром козлоногим.

Сатир козлоногий — это я. А ведь я крепче вас; кости шире, и здоровье крепче от природы. А сравните: видите вот это? (он слегка коснулся пальцами начинавших редеть на

лбу волос). Да, батюшка, все это «жар души, растраченный в пустыне»! Да и какой там жар души! Просто свинство...

— Сергей Васильевич, не вернемся ли мы к прежнему? Почему вы отказываетесь познакомиться меня с моделью?

— Да потому, что она в этой растрате участие принимала. Я сказал вам: не важная особа, и действительно не важная. На нижней ступеньке человеческой лестницы. Ниже — пропасть, куда она, быть может, скоро и свалится. Пропасть окончательной гибели. Да она и так окончательно погибла.

— Я начинаю вас понимать, Сергей Васильевич.

— То-то. Видите, какое у меня есть «но»?

— Вы можете оставить это «но» при себе. Почему вы считаете долгом меня опекать и оберегать?

— Я сказал, за что я вас люблю. За то, что вы чистый. Не вы один, вы оба. Вы представляете собой такое редкое явление: что-то веющее свежестью, благоухающее. Я завидую вам, но дорожу тем, что хоть со стороны могу посмотреть. И вы хотите, чтобы я все это ис-

портил? Нет, не ждите.

— Что же это такое, наконец, Сергей Васильевич? Мало вы надеетесь на мою вами открытую чистоту, если боитесь таких ужасных вещей от одного знакомства с этой женщиной.

— Слушайте! Я могу вам дать или не дать ее. Я поступаю согласно своему желанию. Я не хочу вам дать ее. Я не даю. Dixi.[1]

Теперь он сидел, а я в волнении ходил по ковру.

— А вы думаете, что она подходит?

— Очень. Впрочем, нет, не очень, — резко оборвал он: — совсем не подходит. Будет о ней.

Я просил его, сердился, представлял всю нелепость взятой им на себя задачи охранять мою нравственность, и ничего не добился. Он решительно отказал мне и в заключение сказал:

— Я никогда не говорил два раза «dixi».

— С чем вас и поздравляю, — ответил я ему с досадой. Мы поговорили за чаем о каких-то пустяках и разошлись.

## IV

Я целых две недели ничего не делал. Ходил только в академию писать свою программу на ужаснейшую библейскую тему: обращение жены Лота в соляной столб. Все у меня уже было готово — и Лот и домочадцы его, но столба придумать я никак не мог. Сделать что-нибудь вроде могильного памятника или просто статую Лотовой супруги из каменной соли?

Жизнь шла вяло. Получил два письма от Сони. Получил, прочел ее милую болтовню об институтских порядках, о том, что она читает потихоньку от аргусовских очей классных дам, и присоединил к пачке прежних писем, обвязанных розовой ленточкой. Я завел эту ленточку еще лет пятнадцати и до сих пор не мог решиться выбросить ее. Да и зачем было выбрасывать? Кому она мешала? Но что сказал бы Бессонов, увидя это доказательство моей сентиментальности? Умилился бы еще раз перед моей «чистотой» или начал бы издеваться?

Однако он не на шутку огорчил меня. Что

делать? Бросить картину или опять искать натуру?

Неожиданный случай помог мне. Однажды, когда я лежал на диване с каким-то глупым переводным французским романом и долежался до головной боли и отупения от разных моргов, полицейских сыщиков и воскресений людей, которых смерти хватило бы на двадцать человек, отворилась дверь и вошел Гельфрейх.

Представьте себе тощие, кривые ножки, огромное туловище, задавленное двумя горбами, длинные, худые руки, высоко вздернутые плечи, как будто выражающие вечное сомнение, молодое бледное, слегка опухшее, но милостивое лицо на откинутой назад голове. Он был художник. Любители очень хорошо знают его картинки, писанные по большей части на один и тот же, слегка измененный сюжет. Его герои — кошки; были у него коты спящие, коты с птичками, коты, выгибающие спину; даже пьяного кота с веселыми глазами за бокалом вина изобразил однажды Гельфрейх. В котах он дошел до возможного совершенства, но больше ни за что не брался.

Если в картинке, кроме кошек, были еще какие-нибудь аксессуары — зелень, откуда должны были выглядывать розовый носик и золотистые глазки с узкими зрачками, какая-нибудь драпировка, корзинка, в которой поместилось целое семейство котят с огромными прозрачными ушами, — то он обращался ко мне. Он и на этот раз вошел с чем-то завернутым в синюю бумагу. Протянув мне свою белую и костлявую руку, он положил сверток на стол и стал развязывать его.

— Опять кот? — спросил я.

— Опять... Нужно, видишь ли, тут коврик немножко... а на другом кусок дивана...

Он развернул бумагу и показал мне две небольшие, в пол-аршина, картинки; фигурки кошек были совсем окончены, но были написаны на фоне из белого полотна.

— Или не диван, так что-нибудь... Ты сочини уж. Надоело мне.

— Скоро ты бросишь этих котов, Семен Иваныч?

— Да нужно бы бросить, мешают они мне, очень мешают. Да что же ты поделаешь? Деньги! Ведь вот такая дрянь — двести руб-

лей.

И он, расставив тонкие ноги, пожал своими и так уже вечно сжатыми плечами и развел руками, как будто хотел выразить изумление, как такая дрянь может находить себе покупателя.

Своими кошками он в два года добился известности. Ни прежде, ни после (разве только на одной картинке покойного Гуна) я не видал такого мастерства в изображении котов всевозможных возрастов, мастей и положений. Но обратив на них свое исключительное внимание, Гельфрейх забросил все остальное.

— Деньги, деньги... — задумчиво повторял он. — И на что мне, горбатому черту, столько денег? А между тем я чувствую, что приняться за настоящую работу мне становится все труднее и труднее. Я завидую тебе, Андрей. Я два года, кроме этих тварей, ничего не пишу... Конечно, я очень люблю их, особенно живых. Но я чувствую, как меня засасывает все глубже и глубже... А ведь я талантливее тебя, Андрей, как ты думаешь? — спросил он меня добродушным и деликатным тоном.

— Я не думаю, — ответил я, улыбнув-

шись, — а уверен в этом.

— Что твоя Шарлотта? Я махнул рукой.

— Плохо? — спросил он. — Покажи...

И видя, что я, не сходя с места, сделал отрицательное движение головой, он сам пошел рыться в куче старых холстов, поставленных в углу. Потом надел на лампу рефлектор, поставил мою неоконченную картину на мольберт и осветил ее. Он долго молчал.

— Я понимаю тебя, — сказал он. — Тут может выйти хорошее. Только все-таки это Анна Ивановна. Знаешь, зачем я пришел к тебе? Пойдем со мной.

— Куда?

— Куда-нибудь. На улицу. Тоска, Андрей. Боюсь, как бы опять не впасть в грех.

— Ну вот еще, вздор!

— Нет, не вздор. Чувствую, как что-то уже сосет здесь (он показал «под ложечку»). «Я б хотел забыться и заснуть», — неожиданно пропел он жиденьким тенорком. — Я и пришел к тебе, чтобы не быть одному, а то ведь начнешь — на две недели затянется. Потом болезнь. Да, наконец, и вредно это очень... при таком торсе.

Он повернулся два раза на каблуках, чтобы показать мне оба свои горба.

— Знаешь что? — предложил я: — Переезжай ко мне. Я удержу тебя.

— Это бы хорошо было. Я подумаю. А теперь пойдем. Я оделся, и мы вышли.

Мы долго блуждали по петербургской слякоти. Была осень. Дул сильный ветер с моря. Поднималась кода. Мы побывали на дворцовой набережной. Разъяренная река пенилась и охлестывала волнами гранитные парапеты набережной. Из черной пропасти, в которой исчезал другой берег, иногда блестела молния, и спустя четверть минуты раздавался тяжелый удар: в крепости падали из пушек. Вода прибывала.

— Я хотел бы, чтобы она еще поднялась. Я не видел наводнения, а это ведь интересно, — сказал Гельфрейх.

Мы долго сидели на набережной, молча вглядываясь в бушующий мрак.

— Она больше не прибудет, — сказал, наконец, Гельфрейх. — Ветер, кажется, стихает. Мне жаль! Я не видел наводнения... Пойдем.

— Куда?

— Куда глаза глядят... Пойдем со мной. Я сведу тебя в одно место. Меня пугает эта природа с ее чепухой. Бог с ней! Лучше посмотрим человеческую чепуху.

— Где же это, Сенечка?

— Да уж я знаю... Извозчик! — закричал он.

Мы сели и поехали. На Фонтанке, против деревянных, изукрашенных резьбой и пестро расписанных масляной краской ворот Гельфрейх остановил извозчика.

Мы прошли через грязный двор, между двумя длинными двухэтажными корпусами старинной постройки. Два сильных рефлектора кидали нам в лицо потоки яркого света; они были повешены по сторонам крыльца, старинного, но тоже обильно украшенного пестрою деревянною резьбою в так называемом русском вкусе. Впереди нас и сзади нас шли люди, направлявшиеся туда же, куда и мы, — мужчины в меховых пальто, женщины в длинных дипломатах и пальмерстонах из претендующей на роскошь материи: шелковые цветы по плисовому полю, с боа на шеях и в белых шелковых платках на головах; все

это входило в подъезд и, поднявшись на несколько ступенек лестницы, раздевалось, обнаруживая по большей части жалко-роскошные туалеты, где шелк заменяла наполовину бумага, золото — бронза, бриллианты — шлифованное стекло, а свежесть лица и блеск глаз — цинковые белила, кармин и тердесен.

Мы взяли в кассе билеты и вступили в целую анфиладу комнат, уставленных маленькими столиками. Душный воздух, пропитанный какими-то странными испарениями, охватил меня. Табачный дым, вместе с запахом пива и дешевой помады, носился в воздухе. Толпа шумела. Иные бесцельно бродили, иные сидели за бутылками у столиков; тут были мужчины и женщины, и странно было выражение их лиц. Все притворялись веселыми и говорили о чем-то: о чем — бог весть! Мы подсели к одному из столиков. Гельфрейх спросил чаю. Я мешал его ложечкой и слушал, как рядом со мною низенькая, полная брюнетка, с цыганским типом лица, медленно и с достоинством, с сильным немецким акцентом и с каким-то оттенком гордости в го-

лосе, отвечала своему кавалеру на его вопрос, часто ли она здесь бывает:

— Я бываю здесь один раз в неделю. Я не могу часто бывать, потому что нужно в другое место. Вот как: третий день я была в Немецком клубе, вчера в Орфеуме, сегодня здесь, завтра в Большой театр, послезавтра в Приказчий, потом в оперетту, потом Шато-де-флер... Да, я каждый день где-нибудь бываю: так и проходит *die ganze Woche*. [2]

И она гордо посмотрела на своего собеседника, который даже съежился, услышав столь пышную программу удовольствий. Это был белобрысый человек лет двадцати пяти, с узким лбом, с нависшею на него гривкою, с бронзового цепочкой. Он вздохнул, робко глядя на свою великолепную даму. Увы, где ему, скромному апраксинскому приказчику, преследовать ее изо дня в день по клубам и кафе-шантанам?

Мы встали и пошли бродить по комнатам. В конце анфилады их широкая дверь вела в зал, назначенный для танцев. Желтые шелковые занавески на окнах и расписанный потолок, ряды венских стульев по стенам, в углу

залы большая белая ниша в форме раковины, где сидел оркестр из пятнадцати человек. Женщины, по большей части обнявшись, парами ходили по зале; мужчины сидели по стенам и наблюдали их. Музыканты настраивали инструменты. Лицо первой скрипки показалось мне немного знакомым.

— Вы ли это, Федор Карлович? — спросил я, трогая его за плечо.

Федор Карлович обернулся ко мне. Боже мой, как он обрюзг, опух и поседел!

— Да, я — Федор Карлович, и что же вам угодно?

— А помните, в гимназии?.. Вы приходили со скрипкой на уроки танцев.

— А! Я и теперь сижу там, на табуреточке, в углу залы. Я помню вас... Вы вальсировали очень ловко...

— Давно вы здесь?

— Вот третий год.

— Вы помните, как один раз вы пришли рано и в пустой зале сыграли элегию Эрнста? Я слышал.

Музыкант блеснул своими заплывшими глазами.

— Вы слышали? Вы слушали? Я думал, что меня никто не слышит. Да, я иногда играл... Теперь не могу... Теперь здесь; на масленой, на пасхе — день в балаганах, вечер здесь... (Он помолчал.) У меня четыре сына и одна дочь, промолвил он тихо. — И один мальчик в этом году кончает Annen-Schmle и поступает в университет... Я не могу играть элегии Эрнста.

Капельмейстер взмахнул смычком несколько раз; оглушительно дернул тощий и громкий оркестр какую-то польку. Капельмейстер, помахав такта три-четыре, сам присоединил свою визгливую скрипку к общему хору. Пары завертелись, оркестр гремел.

— Пойдем, Сеня, — сказал я. — Тоска... Поедем домой, напьемся чаю и поболтаем о хорошем.

— О хорошем? — спросил он с улыбкою. — Ну ладно, поедем.

Мы стали проталкиваться к выходу. Вдруг Гельфрейх остановился.

— Смотри, — сказал он: — Бессонов...

Я оглянулся и увидел Бессонова. Он сидел за мраморным столиком, на котором стояла

бутылка вина, рюмки и еще что-то такое. Низко нагнувшись, с блестящими глазами, он оживленно шептал что-то сидевшей за тем же столом женщине в черном шелковом платье, лица которой нам не было видно. Я заметил только ее стройную фигуру, тонкие руки и шею и черные волосы, гладко зачесанные с затылка вверх.

— Благодарю судьбу, — сказал мне Гельфрейх. — Ты знаешь ли, кто эта особа? Радуйся, это она, твоя Шарлотта Корде.

— Она? Здесь?

Бессонов, держа в руке рюмку с вином, поднял на меня свои оживившиеся и покрасневшие глаза, и на лице его ясно выразилось неудовольствие.

Он встал с места и подошел к нам.

— Вы здесь? Какими судьбами?

— Приехали посмотреть на вас, — ответил я, улыбаясь. — И я не жалею, потому что...

Он поймал мой взор, скользнувший по его подруге, и резко перебил меня:

— Не надейтесь... Этот Гельфрейх уже сказал вам... Но из этого ничего не выйдет. Я не допущу. Я увезу ее...

И быстро подойдя к ней, он громко сказал:

— Надежда Николаевна, поедemте отсюда.

Она повернула голову, и я увидел в первый раз ее удивленное лицо.

Да, я увидел ее в первый раз в этом вертепе. Она сидела здесь с этим человеком, иногда спускавшимся из своей эгоистической деятельной и высокомерной жизни до разгула; она сидела за опорожненной бутылкой вина; глаза ее были немного красны, бледное лицо

измято, костюм небрежен и резок. Вокруг нас теснилась толпа праздношатающих гуляк, купцов, отчаявшихся в возможности жить не напиваясь, несчастных приказчиков, проводящих жизнь за прилавками и отводящих свою убогую душу только в таких притонах, падших женщин и девушек, только-только прикоснувшихся губами к гнусной чаше, разных модисток, магазинных девочек... Я видел, что она уже падает в ту бездну, о которой говорил мне Бессонов, если уже совсем не упала туда.

— Поедем же, поедем, Надежда Николаевна! — торопил Бессонов.

Она встала и, смотря на него с удивлением, спросила:

— Зачем? Куда?

— Я не хочу оставаться здесь...

— И можете ехать... Это, кажется, ваш знакомый и Гельфрейх?

— Послушай, Надя... — резко сказал Бессонов.

Она нахмурила брови и бросила на него гневный взгляд.

— Кто вам дал право так обращаться ко

мне? Сенечка, милый мой, здравствуйте!

Семен поймал ее руки и крепко жал их.

— Послушай, Бессонов, — сказал он, — полно дурить.

Поезжай домой, если хочешь, или оставайся, а Надежда Николаевна останется с нами. У нас есть к ней дело, и очень важное. Надежда Николаевна, позвольте вам представить: Лопатин, мой друг и его (он указал на нахмурившегося Бессонова) также друг, художник.

— Как она картины любит, Андрей! — вдруг радостно сказал он мне. — В прошлом году я водил ее по выставке. И твои этюды видели. Помните?

— Помню, — ответила она.

— Надежда Николаевна! — еще раз сказал Бессонов.

— Оставьте меня... Поезжайте куда вам угодно. Я остаюсь с Сеней и вот с... т-г Лопатиным. Я хочу душу отвести... от вас! — вдруг вскрикнула она, видя, что Бессонов хочет сказать еще что-то. — Вы опротивели мне. Оставьте, уезжайте...

Он резко отвернулся и вышел, не простясь ни с кем.

— Так лучше... без него... — сказала Надежда Николаевна и тяжело вздохнула.

— Отчего вы вздыхаете, Надежда Николаевна? — спросил Сенечка.

— Отчего? Оттого, что то, что позволено всем этим калекам (она движением головы показала на теснившуюся вокруг нас толпу), то не должен позволять себе он... Ну да все равно, тоска, надоело все это. Нет, не надоело, хуже. Слова не подберешь. Сенечка, давайте пить?

Семен жалобно взглянул на меня.

— Вот видите ли, Надежда Николаевна, и рад бы, да нельзя; вот он...

— Что ж он? И он с нами выпьет.

— Он не станет.

— Ну, так вы.

— Он не позволит.

— Это скверно... Кто же вам может не позволить?

— Я дал слово, что буду его слушаться.

Надежда Николаевна внимательно посмотрела на меня.

— Вот как! — сказала она. — Ну, вольному воля, спасенному рай. Если не хотите, не нуж-

но. Я буду одна...

— Надежда Николаевна, — начал я, — простите, что при первом знакомстве...

Я почувствовал, что румянец заливает мне щеки. Она, улыбаясь, смотрела на меня.

— Ну, что вам?

— При первом же знакомстве я просил бы вас... не делать этого, не держать себя так... Я хотел просить вас еще об одном одолжении.

Лицо ее подернулось грустью.

— Не держать себя так? — сказала она. — Боюсь, что я уже не могу держать себя иначе: отвыкла. Ну, хорошо; чтобы сделать вам приятное, попробую. А одолжение?

Я, заикаясь, путаясь в словах и конфузясь, рассказал ей, в чем дело. Она внимательно слушала, уставив свои серые глаза прямо на меня. Напряженное ли внимание, с каким она вникала в мои слова, или что-то другое придавало ее взору суровое и немного жестокое выражение.

— Хорошо, — сказала она наконец. — Я понимаю, что вам нужно! Я и лицо себе такое сострою.

— Можно без этого обойтись, Надежда Ни-

колаевна, лишь бы ваше лицо...

— Хорошо, хорошо. Когда же мне быть у вас?

— Завтра, в одиннадцать часов, если можно.

— Так рано? Ну, так, значит, надо ехать спать ложиться. Сенечка, вы проводите меня?

— Надежда Николаевна, — сказал я, — мы не условились еще об одной вещи: это ведь даром не делается.

— Что ж, вы мне платить будете, что ли? — сказала она, и я почувствовал, что в ее голосе звенит что-то гордое и оскорбленное.

— Да, платить; иначе я не хочу, — решительно сказал я.

Она окинула меня высокомерным, даже дерзким взглядом, но почти тотчас же лицо ее приняло задумчивое выражение. Мы молчали. Мне было неловко. Слабая краска показалась на ее щеках, и глаза вспыхнули.

— Хорошо, — сказала она, — платите. Сколько другим натурщицам, столько и мне. Сколько я получу за всю Шарлотту, Сенечка?

— Рублей шестьдесят, я думаю, — ответил он.

— А сколько времени вы будете ее писать?

— Месяц.

— Хорошо, очень хорошо! — оживленно сказала она. — Я попробую брать с вас деньги. Спасибо вам!

Она протянула мне свою тонкую руку и крепко пожала мою.

— Он у вас ночует? — спросила она, оборачиваясь ко мне.

— У меня, у меня.

— Я сейчас отпущу его. Только пусть доведет.

Через полчаса я был дома, а через пять минут после меня вернулся Гельфрейх. Мы разделись, легли и потушили свечи. Я начинал уже засыпать.

— Ты спишь, Лопатин? — вдруг раздался в темноте Сенечкин голос.

— Нет, а что?

— Вот что: я сейчас же дал бы отрубить себе левую руку, чтобы этой женщине было хорошо и чисто, — сказал он взволнованным голосом.

— Отчего же не правую? — спросил я, засыпая.

— Глупый! А писать-то чем я буду? — серьезно спросил Сенечка.

## VI

Когда я проснулся на другой день, в окно уже глядело серое утро. Посмотрев на слабо освещенное бледное миловидное лицо Гельфрейха,

спавшего на диване, вспомнив вчерашний вечер и то, что у меня будет натурщица для картины, я повернулся на другой бок и снова заснул чутким утренним сном.

— Лопатин! — раздался голос.

Я слышал его во сне. Он совпал с моим сновидением, и я не просыпался, но кто-то трогал меня за плечо.

— Лопатин, проснитесь, — говорил голос. Я вскочил на ноги и увидел Бессонова.

— Это вы, Сергей Васильевич?

— Я... Не ждали так рано? — тихо сказал он. — Говорите тише: я не хотел бы разбудить горбуна.

— Что вам нужно?

— Оденьтесь, умойтесь; я скажу. Пойдемте в другую комнату. Пусть он спит.

Я забрал под мышку платье и сапоги и вышел одеваться в мастерскую. Бессонов был

очень бледен.

— Вы, кажется, не спали эту ночь? — спросил я.

— Нет, спал. Встал очень рано и работал. Скажите, чтобы нам дали чаю, и поговорим. Кстати, покажите вашу картину.

— Не стоит теперь, Сергей Васильевич. Вот погодите, скоро кончу ее в исправленном и настоящем виде. Может быть, вам неприятно, что я поступил против вашего желания, но вы не поверите, как я рад, что кончу, что это так случилось. Лучше Надежды Николаевны я и ожидать для себя ничего не мог.

— Я не допущу того, чтобы вы писали с нее, — глухо сказал он.

— Сергей Васильевич, вы, кажется, пришли ссориться со мной?

— Я не допущу ее бывать у вас каждый день, проводить с вами целые часы... Я не позволю ей.

— Есть ли у вас такая власть? Как вы можете не позволить ей? Как вы можете не позволить мне? — спрашивал я, чувствуя, что начинаю раздражаться.

— Власть... Власть... Несколько слов будет

довольно. Я напомним ей, что такое она. Я скажу ей, что такое вы. Я скажу ей о вашей сестре, Софье Михайловне...

— Я не позволю вам заикаться о моей сестре. Если есть у вас право на эту женщину, — пусть правда то, что вы мне говорили о ней, пусть она пала, пусть десятки людей имеют на нее такие же права, как вы, — у вас есть право на нее, но у вас нет прав на мою сестру. Я запрещаю вам говорить ей что-нибудь о сестре! Слышите?

Я чувствовал, что голос мой зазвенел угрозой. Он начинал выводить меня из себя.

— Так вот как! Вы показываете когти! Я не знал, что они у вас есть. Хорошо, вы правы: на Софью Михайловну я не имею никаких прав. Я не осмелюсь поминать имя ее всуе. Но эта... эта...

Он в волнении несколько раз прошелся из угла в угол комнаты. Я видел, что он взволнован серьезно. Я не понимал, что с ним делается. В прошлый наш разговор он и словами и тоном своим выразил такое нескрываемое презрение к этой женщине, а теперь... Неужели?..

— Сергей Васильевич, — сказал я, — вы любите ее! Он остановился, взглянул на меня странным взглядом и отрывисто промолвил:

— Нет.

— Что же вас точит? Из-за чего вы подняли всю эту бурю? Не могу же я поверить, что вы печетесь о спасении моей души из когтей этого воображаемого дьявола.

— Это мое дело, — сказал он. — Но помните, что каким бы то ни было путем, а я помешаю вам... Я не позволю! Слышите? — задорно крикнул он.

Я почувствовал, что кровь бросилась мне в голову. В том углу, где я стоял в это время спиной к стене, был навален разный хлам: холсты, кисти, сломанный мольберт.

Тут же стояла палка с острым железным наконечником, к которой во время летних работ привинчивается большой зонт. Случайно я взял в руки это копьё, и когда Бессонов сказал мне свое «не позволю», я со всего размаха вонзил острие в пол. Четырехгранное железо ушло в доски на вершок.

Я не сказал ни слова, но Бессонов взглянул на меня изумленными и даже, как мне пока-

залось, испуганными глазами.

— Прощайте, — сказал он. — Я ухожу. Вы чересчур раздражены.

Я уже успел успокоиться.

— Пойдите, — сказал я. — Оставайтесь.

— Нет, мне нужно. До свидания!

Он ушел. Я с усилием вытащил копьё из пола и помню, что коснулся пальцем слегка нагретого блестящего железа. Мне в первый раз пришло в голову, что это — страшное оружие, которым легко положить человека на месте.

Гельфрейх ушел в академию, я не без волнения ожидал свою натурщицу. Я поставил совсем новый холст и приготовил все нужное.

Я не могу сказать, чтобы я думал тогда только о своей картине. Я вспоминал вчерашний вечер с его странной, еще не виданной мною обстановкой, неожиданную и счастливую для меня встречу, эту странную женщину, падшую женщину, которая сразу привлекла все мои симпатии, странное поведение Бессонова... Что ему нужно от меня? Не любит ли он ее в самом деле? Зачем тогда это

презрительное отношение к ней? Разве не мог бы он спасти ее?

Я думал обо всем этом, а рука с углем ходила по холсту; я делал наброски позы, в которой хотел представить Надежду Николаевну, и стирал их один за другим.

Ровно в одиннадцать часов зазвенел колокольчик. Через минуту она в первый раз показалась на пороге моей комнаты. О, как я помню ее бледное лицо, когда она, волнуясь и стыдясь (да, стыд сменил ее вчерашнее выражение), молча стояла в дверях! Она точно не смела войти в эту комнату, где нашла потом свое счастье, единственную свою светлую полосу жизни и... гибель. Не ту гибель, о которой говорил Бессонов... Я не могу писать об этом. Я подожду и успокоюсь.

## VII

Соня не знает, что я пишу эти горькие страницы. По-прежнему каждый день она сидит у моей постели или кресла. Часто заходит ко мне и мой друг, мой бедный горбатый. Он очень похудел и осунулся и большею частью молчит. Соня говорит, что он упорно работает... Дай бог ему счастья и успеха!

Она пришла, как обещала, ровно в одиннадцать часов. Она вошла робко, застенчиво ответив на мое приветствие, и молча села на кресло, стоявшее в углу мастерской.

— Вы очень точны, Надежда Николаевна, — сказал я, накладывая краски на палитру.

Она взглянула на меня и ничего не ответила.

— Я не знаю, как благодарить вас за ваше согласие... — продолжал я, чувствуя, что краснею от смущения. Я хотел сказать ей что-то совсем другое. — Я так долго не мог найти натурщицы, что совсем было бросил картину.

— Разве у вас при академии их нет? — спросила она.

— Есть, но они мне негодились. Посмотрите вот это лицо.

Я достал из лежавшей на столе кучи всякого хлама карточку Анны Ивановны и подал ей. Она взглянула и слабо улыбнулась.

— Да, это вам не годится, — сказала она. — Это не Шарлотта Корде.

— Вы знаете историю Шарлотты Корде? — спросил я. Она взглянула на меня с странным выражением удивления, смешанного с каким-то горьким чувством.

— Почему же мне не знать? — спросила она. — Я кое-чему училась. Я забыла теперь многое, ведя эту жизнь, и все-таки кое-что помню. А таких вещей забыть нельзя...

— Где вы учились, Надежда Николаевна?

— Зачем вам знать это? Если можно, будем начинать. Тон ее вдруг изменился: она проговорила эти слова отрывисто и мрачно, как говорила вчера Бессонову.

Я замолчал. Достав из шкафа давно уже сшитое мною синее платье, чепчик и все принадлежности костюма Шарлотты, я попросил ее выйти в другую комнату и переодеться. Я едва успел приготовить все, что мне было

нужно для работы, как она уже вернулась.

Передо мной стояла моя картина.

— Ах, боже мой! Боже мой! — заговорил я с восторгом. — Как это хорошо, как это хорошо! Скажите, Надежда

Николаевна, не виделись ли мы прежде? Иначе это невозможно объяснить. Я представлял себе свою картину именно такой, как вы теперь. Я думаю, что я вас видел где-нибудь. Ваше лицо, может быть, бессознательно запечатлелось в моей памяти... Скажите, где я видел вас?

— Где вы могли видеть меня? — переспросила она. — Не знаю. Я не встречалась с вами до вчерашнего дня. Начинайте, пожалуйста. Поставьте меня, как нужно, и пишите.

Я попросил ее стать на место, поправил складки платья, слегка коснулся ее рук, придав им то беспомощное положение, какое всегда представлял себе, и отошел к мольберту.

Она стояла передо мною... Она стоит передо мною и теперь, вот тут, на этом холсте... Она, как живая, смотрит на меня. У нее то же печальное и задумчивое выражение, та же черта смерти на бледном лице, какие были в

то утро.

Я стер все начерченное углем на холсте и быстро набросал Надежду Николаевну. Потом я стал писать. Никогда — ни прежде, ни после — мне не удавалось работать так быстро и успешно. Время летело незаметно, и только через час я, взглянув на лицо своей модели, увидел, что она сейчас упадет от усталости.

— Простите, простите меня... — сказал я, сводя ее с возвышении, на котором она стояла, и усаживая в кресло. — Я совсем измучил вас.

— Ничего, — ответила она, бледная, но улыбающаяся. — Уж если зарабатывать себе хлеб, то нужно пострадать немножко. Я рада, что вы так увлеклись. Можно посмотреть? — сказала она, кивнув головой на картину, лица которой она не видела.

— Конечно, конечно!

— Ах, какая мазня! — вскрикнула она. — Я никогда еще не видела начала работы художника. И как это интересно!.. К знаете, уже в этой мазне я вижу то, что должно быть... Вы задумали хорошую картину, Андрей Николаевич... Я постараюсь сделать все, чтобы она

вышла... насколько от меня это зависит.

— Что же вы можете сделать?

— Я говорила вчера... Я сделаю вам выражение. Вам будет легче работать...

Она быстро стала на свое место, подняла голову, уронила белые руки, и на ее лице отразилось все, о чем мечтал я для своей картины. Тут были решимость и тоска, гордость и страх, любовь и ненависть...

— Так? — спросила она. — Если так, то я буду стоять сколько угодно.

— Лучше мне ничего не нужно, Надежда Николаевна; но ведь вам будет трудно сохранять подолгу такое выражение. Благодарю вас. Посмотрим. До этого еще далеко... Позвольте просить вас позавтракать со мною...

Она долго отказывалась, но потом согласилась.

Моя поилица и кормилица Агафья Алексеевна принесла завтрак; мы в первый раз сели за стол вместе. Сколько раз это случалось потом!.. Надежда Николаевна ела мало и молча; она, видимо, стеснялась. Я налил в ее стакан вина, которое она выпила почти сразу. Румянец заиграл на ее бледных щеках.

— Скажите, — вдруг спросила она, — вы давно знаете Бессонова?

Я не ожидал этого вопроса. Вспомнив все, что произошло между мною и Бессоновым из-за нее, я смутился.

— Отчего вы краснеете? Впрочем, все равно; только ответьте мне на вопрос.

— Давно. С детства.

— Он хороший человек?

— Да, по-моему, он хороший человек. Он честен, много работает. Он очень талантливый человек. Он хорошо относится к матери.

— У него есть мать? Где она?

— В \*\*\*. Там у нее есть маленький домик. Он высылает ей деньги и сам иногда туда ездит. Я никогда не видал матери, более влюбленной в сына.

— Зачем же он не возьмет ее сюда?

— Кажется... она сама не хочет... Впрочем, не знаю... Дом у нее там, она привыкла.

— Это неправда, — задумчиво сказала Надежда Николаевна. — Он не берет матери сюда потому, что думает, что она помешает ему. Я не знаю, я только думаю так... Она стеснит его. Это провинциалка, вдова какого-нибудь

мелкого чиновника. Она будет шокировать его.

Она произнесла слово «шокировать» едко и с расстановкой.

— Я не люблю этого человека, Андрей Николаевич, — сказала она.

— За что? Он все-таки хороший человек.

— Я не люблю его... И боюсь его... Ну, будет; пойдём работать.

Она стала на место. Короткий осенний день приходил к концу.

Я работал до сумерек, давая иногда вздохнуть Надежде Николаевне, и только когда краски начали смешиваться в своих цветах и стоявшая передо мною на возвышении модель уже подернулась сумраком, я положил кисти... Надежда Николаевна переделалась и ушла.

## VIII

В тот же день вечером я перевез Семена Ивановича к себе. Он жил на Садовой, в огромном, снизу доверху набитом жильцами доме, занимавшем почти целый квартал между тремя улицами. Наиболее аристократическая часть дома, выходящая на Садовую, была занята меблированными комнатами отставного капитана Грум-Скже-бицкого, отдававшего свои довольно грязные и довольно большие комнаты начинающим художникам, небедным студентам и музыкантам. Таков был преимущественный состав жильцов сурового капитана, строго наблюдавшего за благочинием своего, как он выражался, «отеля».

Я поднялся по витой чугунной лестнице и вошел в коридор. Из-за первой двери слышались беглые пассажи скрипки, немного дальше завывала виолончель, а где-то в конце коридора гремел рояль. Я постучал в дверь Гельфрейха.

— Войдите! — закричал он тоненьким голосом.

Он сидел на полу и в огромный ящик укладывал свои пожитки. Чемодан, уже завязанный, лежал возле. В ящик Семен Иванович клал вещи, не придерживаясь какой-нибудь системы: на дно была положена подушка, на нее — развинченная и завернутая в бумагу лампа, затем кожаный тюфячок, сапоги, куча этюдов, ящик с красками, книги и всякая мелочь. Рядом с ящиком сидел большой рыжий кот и смотрел в глаза хозяину. Этот кот, по словам Гельфрейха, состоял у него на постоянной службе.

— Я уже готов, Андрей, — сказал Гельфрейх. — Я очень рад, что ты меня к себе берешь. Ну, скажи, был сегодня сеанс? Пришла она?

— Пришла, пришла, Сеня... — ответил я, торжествуя в душе. — Помнишь, ночью ты сказал одну фразу... что ты отдал бы свою левую руку?

— Ну? — спросил он, сев на ящик и улыбаясь.

— Я немного понимаю тебя, Сеня...

— Вот видишь! Ах, Андрей, Андрей, вытащи ее! Я не могу. Я глупый, горбатый черт. Ты

сам очень хорошо знаешь, что я не протащу через всю жизнь, долгую жизнь, и тяжести одного себя без посторонней помощи, без твоей, например, а уж другого кого-нибудь поддерживать... куда мне! Мне самому нужно, чтобы меня спасали от пьянства, брали к себе, заставляли работать, держали у себя мои деньги, писали корзинки, диваны и всякую обстановку для моих котов. Ах, Андрей, что бы я без тебя делал?

И во внезапном порыве нежности Сенечка вдруг соскочил со своего ящика, подбежал ко мне, обхватил меня руками и прижал голову к моей груди. Его мягкие шелковистые волосы касались моих губ. Затем так же быстро он оставил меня, побежал в угол комнаты (я имею сильное подозрение, что дорогой он стер слезинку) и уселся в кресло, стоявшее в углу, в тени.

— Ну, видишь, куда же мне! Ноты... ты — другое дело. Вытащи ее, Андрей!

Я молчал.

— Был еще один человек, который бы мог, — продолжал Семен Иванович, но он не захотел.

— Бессонов? — спросил я.

— Да, Бессонов.

— Он давно с нею знаком, Сенечка?

— Давно; раньше меня. У этого человека в голове всё ящички и отделеньица; выдвинет один, достанет билетик, прочтет, что там написано, да так и действует. Представился ему вот этот случай. Видит, падшая девушка. Ну, он сейчас себе в голову (а там у него все по алфавиту), достал, прочел: они не возвращаются никогда.

Семен Иванович не стал говорить дальше. Он облокотился подбородком на руку и задумчиво смотрел мне прямо в лицо.

— Ты расскажи мне, как они познакомились. Что за странные отношения между ними?

— После, Андрей; теперь не стану. Да, может быть, она и сама тебе расскажет. Напрасно я сказал: «может быть», наверное расскажет. Ты у меня ведь вот какой... — улыбнувшись, сказал Семен. — Поедем, нужно расплатиться с капитаном.

— Деньги у тебя есть?

— Есть, есть. Выручают коты.

Он вышел в коридор, крикнул что-то прислуге, и через минуту явился сам капитан. Это был крепкий, коренастый старик, очень свежий, с гладко выбритым лицом. Войдя в комнату, он щегольски расшаркался и подал Гельфрейху руку, мне же сделал только безмолвный поклон.

— Что пану требуется? — спросил он вежливо.

— Я уезжаю от вас, капитан.

— То есть воля пана, — ответил он, пожимая плечами. — Я был очень доволен вами, милостивый государь. Я рад, когда в моем отеле проживают прекрасные, образованные люди... Пан друг также художник? — спросил он, обращаясь ко мне с вторичным и весьма изящным поклоном. — Рекомендую себя: капитан Грум-Скжебицкий, старый солдат.

Я протянул ему руку и назвал свое имя.

— Пан Лопатин! — воскликнул капитан, выражая на своем лице почтительное удивление. — То есть известное имя. От всех учеников академии слышал. Очень счастлив знакомством. Желая вам иметь славу Семирадского и Ма-тейки... Куда же вы переезжаете?

те? — спросил капитан Гельфрейха.

— А вот к нему... — смущенно улыбаясь, ответил Гельфрейх.

— Хотя вы и отнимаете у меня превосходного квартиранта, но я не огорчен. Дружба — это такое право... — сказал капитан, опять кланяясь. Сейчас я принесу свою книгу...

Он вышел, бодро подняв голову. В его походке было что-то воинственное.

— Где он служил? — спросил я Сеню.

— Не знаю; только он не русский капитан. Я узнал в паспорте; он просто дворянин Ксаверий Грум-Скжебицкий. По секрету он всем говорит, что был в повстаньи. На стене у него и теперь висит «дупельтовка».

Капитан принес свою книгу и счета. Справившись с книгой и поцелкав минуты две на счетах, он объявил сумму, которую должен был ему Гельфрейх за квартиру до конца месяца и за обеды. Семен Иванович расплатился, и мы весьма дружелюбно, расстались. Когда вынесли вещи, Семен Иванович взял подмышку рыжего кота, давно уже беспокойно тершегося у его ног, подняв хвост палочкой вверх и изредка коротко мяукая (вероятно,

опустошенный вид комнаты привел его в тревожное настроение), и мы уехали.

## IX

Прошло еще три или четыре сеанса. Надежда Николаевна приходила ко мне в десять или одиннадцать часов и оставалась до сумерек. Не раз я просил ее остаться пообедать с нами, но она всегда, как только кончался сеанс, поспешно уходила в другую комнату, переодевалась из синего платья в свое черное и тотчас же прощалась.

Ее лицо за эти несколько дней сильно изменилось. Какое-то мрачное и тоскливое выражение замечалось около ее губ и в впадинах ее серых глаз. Она редко говорила со мною и немного оживлялась только тогда, когда в мастерской сидел за своим мольбертом Гельфрейх, продолжавший, несмотря на мои уговаривания, приниматься за что-нибудь серьезное, писать одну кошку за другой. Кроме рыжего натурщика, в нашей квартире откуда-то появилось штук пять или шесть разнообразного возраста, пола и цвета кошек, которых Агафья Алексеевна беспрекословно кормила, хотя и вела с ними непрерывную войну, выражавшуюся преимущественно в том,

что она, забирая их по несколько под мышку, выкидывала на черную лестницу. Но коты жалобно покрикивали у дверей, и мягкое сердце нашей домоправительницы не выдерживало: дверь отворялась, и натурщики снова овладевали квартирой.

Как живо вспоминаются мне эти долгие, тихие сеансы! Картина подходила к концу, и тяжелое, неопределенное чувство закрадывалось постепенно в мою грудь. Я чувствовал, что, когда Надежда Николаевна перестанет быть нужна мне как натурщица, мы расстанемся. Я вспомнил наш разговор с Гельфрейхом в день его переезда; часто, когда я вглядывался в ее бледное, мрачное лицо, в ушах моих звенели слова: «Ах, Андрей, Андрей, вытащи ее!»

Вытащить ее! Я не знал о ней почти ничего. Я не знал даже, где она живет. Она переехала со старой квартиры, куда провожал ее Гельфрейх после вечера нашей встречи, на другую квартиру, и Сеня не мог добиться от нее куда. Ни он, ни я не знали ее фамилии.

Я помню, как однажды я спросил ее об этом на сеансе, когда Гельфрейха не было. В

то утро он ушел в академию (я заставил его хоть изредка ходить в этюдный класс), и мы целый день провели одни. Надежда Николаевна была немного веселее обыкновенного, немного разговорчивее. Ободренный этим, я осмелился сказать:

— Надежда Николаевна, я до сих пор не знаю, как ваша фамилия.

Она как будто не заметила моего вопроса. Неуловимая тень пробежала по ее лицу, и, на мгновение сомкнув губы, как будто что-то поразило ее, она продолжала говорить. Она говорила тогда о Гельфрейхе, и я видел, что она подыскивает сказать что-нибудь, чтобы заговорить меня и замять мой вопрос. Наконец она замолчала.

— Надежда Николаевна, — сказал я, — скажите, за что вы не доверяете мне? Показал ли я хоть чем-нибудь...

— Оставьте это, — печально ответила она. — Я не доверяю вам? Полноте... Зачем мне вам не доверять? Что можете вы сделать мне дурного?

— Отчего же вы...

— Оттого, что не нужно. Пишите, пишите,

скоро темно будет... — сказала она, стараясь говорить веселее. — И Семен Иванович скоро придет; что вы ему покажете? Вы сегодня ничего не сделали. У нас и так все время проходит в разговорах.

— Успеем... я устал... Если угодно, сойдите с места. Отдохните немного.

Она сошла с места и села на стул, стоявший в углу. Я сел на другом конце комнаты. Мне страстно хотелось разговориться с нею, расспросить ее, но я чувствовал, что с каждым сеансом это становится труднее и труднее. Я смотрел, как она сидела, сторбившись, охватив колени сжатыми руками и опустив неподвижные глаза в какую-то точку пола. Один из Сенечкиных котов терся около ее платья и дружелюбно засматривал ей в лицо, напевая свою добродушную и тихую песенку. Она, казалось, оцепенела в этой позе... Что делалось в этой гордой и несчастной душе?

Гордой! Да, не пустое слово сорвалось у меня с пера. И тогда я уже думал, что ее гибель произошла оттого, что она негнулась. Быть может, сделав какую-нибудь уступку, она жила бы, как все, была бы интересной барыш-

ней «с загадочными глазами», потом вышла бы замуж, потом погрузилась бы в море бесцельного существования бок о бок с супругом, занятым необычайно важными делами на какой-нибудь службе. Она наряжалась бы, устраивала у себя журфиксы, воспитывала бы детей («сын в гимназии, дочь в институте»), занималась бы слегка благотворительностью и, пройдя назначенный ей господом путь, дала бы своему супругу случай уведомить на другой день в «Новом времени» о своем «душевном прискорбии». Но она выбита из седла. Что же заставило ее сойти с проторенной колеи жизни «порядочной женщины»? Я не знал этого и мучительно старался прочесть что-нибудь на ее лице. Но оно оставалось неподвижно, все так же глаза ее были устремлены на одну точку.

— Я отдохнула, Андрей Николаевич, — вдруг сказала она, подняв голову. Я встал, посмотрел на нее, потом на холст и ответил:

— Я сегодня не могу больше работать, Надежда Николаевна.

Она взглянула на меня, хотела что-то сказать, но удержалась и молча вышла из комна-

ты, чтобы переодеться. Помню, что я бросился в кресло и закрыл лицо руками. Тоскливое, непонятное мне самому чувство влилось мне в грудь; смутное ожидание чего-то неизвестного и страшного, страстное желание сделать что-то, в чем я сам не мог дать отчета, и нежность к этому несчастному существу, вместе с каким-то боязливым ощущением, которое она поселяла во мне своим присутствием, — все слилось в одно давящее впечатление, и я не помню, сколько времени провел я, погруженный почти в полное забытие.

Когда я очнулся, она стояла передо мной уже одетая в свое платье.

— До свиданья!

Я встал и подал ей руку.

— Подождите немного... Мне хочется сказать вам кое-что.

— Что такое? — спросила она озабоченно.

— Много, много, Надежда Николаевна... Посидите вы хоть один раз, бога ради, не как натурщица.

— Не как натурщица? Чем я могу быть для вас еще? Не дай бог быть мне для вас не натурщицей, а тем, чем я была... чем я есть, —

быстро поправились она. — Прощайте... Вы скоро кончите картину, Андрей Николаевич? — спросила она у дверей.

— Не знаю... Я думаю, еще недели две или три я буду просить вас бывать у меня.

Она молчала, как будто не решаясь сказать мне, что хотела.

— Вам что-нибудь нужно, Надежда Николаевна?

— Не нужно ли еще кому-нибудь... из ваших товарищей... — проговорила она, запинаясь.

— Натурщицы, — перебил я. — Я постараюсь устроить это, непременно постараюсь, Надежда Николаевна.

— Благодарю вас. Прощайте.

Я не успел протянуть ей руку, как позвонили. Она побледнела и опустилась на стул. Вошел Бессонов.

# Х

Он вошел с веселым и развязным видом. Мне показалось сперва, что он немного похудел за эти несколько дней, в которые мы не виделись; но через минуту я подумал, что ошибся. Он весело поздоровался со мной, поклонился Надежде Николаевне, которая продолжала сидеть на своем стуле, и заговорил очень оживленно:

— Я зашел посмотреть. Меня очень интересует ваша работа. Мне хочется узнать, действительно ли вы можете сделать что-нибудь, даже и теперь, когда у вас есть модель, лучше которой, кажется, вам ничего не нужно.

Он мельком взглянул на Надежду Николаевну. Она сидела по-прежнему. Я ожидал, что она уйдет, и мне хотелось этого, но она оставалась, как прикованная к своему стулу, молча и не спускала глаз с Бессонова.

— Это правда, — ответил я. — Лучше мне ничего не нужно. Я очень благодарен Надежде Николаевне за ее согласие.

Говоря это, я откатил мольберт от стены и поставил его как следует.

— Можете смотреть, — сказал я.

Он впился в картину глазами. Я видел, что она поразила его, и мое авторское самолюбие было приятно задето.

Надежда Николаевна вдруг встала.

— До свиданья, — сказала она глухо.

Бессонов порывисто обернулся и сделал несколько шагов по направлению к ней.

— Куда же вы, Надежда Николаевна? Я так давно вас не видел, и когда встретился с вами здесь почти случайно, вы как будто бежите от меня. Подождите хоть немного, хоть пять минут: мы выйдем вместе, и я провожу вас. Я никак не мог вас найти. На вашей прежней квартире мне сказали, что вы уехали из города; я знал, что это неправда. Я справлялся в адресном столе, но там еще не было вашего адреса. Я хотел справиться еще раз завтра, надеясь, что ваш адрес там уже должен быть; но теперь, конечно, это не нужно: вы сами скажете, где вы живете; я провожу вас.

Он говорил быстро и с новым, неизвестным еще для меня в его устах, оттенком нежности. Как не похож был его настоящий тон на тот, которым он говорил с Надеждой Нико-

лаевной в тот вечер, когда мы с Гельфрейхом столкнулись с ними обоими!

— Не нужно, Сергей Васильевич, благодарю вас, — ответила Надежда Николаевна, — я дойду и одна. Провожатых мне не нужно, а... с вами, — тихо договорила она, — мне говорить не о чем.

Он сделал движение рукой, хотел сказать что-то, но только один какой-то странный звук вылетел из его груди. Я видел, что он сдерживает себя... Он прошел несколько шагов по комнате и потом, обернувшись к ней, тихо сказал:

— Ступайте... Если я вам не нужен, тем лучше для нас обоих... может быть, для всех троих...

Она ушла, слабо пожав мою руку; мы остались одни. Скоро пришел Гельфрейх; я предложил Бессонову остаться с нами обедать. Он отвечал не сразу, занятый какою-то мыслью, но потом вдруг опомнился и сказал:

— Обедать? Пожалуй... Я давно у вас не был. Я хотел бы сегодня разговориться.

И он действительно разговорился. В начале обеда он большею частью молчал или да-

вал отрывистые реплики Сенечке, без умолку говорившему о своих котах, которых он непременно бросит, и о том, что нужно же наконец принятаться за настоящую работу; но потом, может быть под влиянием двух стаканов вина, оживление Гельфрейха сообщилось и ему, и я должен сказать, что никогда не видел его таким живым и красноречивым, как за этим обедом и в тот вечер. Под конец он вполне овладел разговором и читал нам целые лекции о внутренней и внешней политике; два года писанья передовых статей по всевозможным вопросам сделали его способным говорить весьма свободно обо всех этих вещах, о которых мы с Гельфрейхом, занятые своими этюдами, знали очень мало.

— Семен Иванович, — сказал я, когда ушел Бессонов, — ведь Бессонову известна фамилия Надежды Николаевны.

— Почем ты знаешь? — спросил Гельфрейх.

Я рассказал ему сцену, происходившую до его прихода.

— Что же ты не спросил его? Впрочем, я понимаю; я узнаю сам...

Почему я в самом деле не спросил Бессонова? Я и теперь не могу ответить на этот вопрос. Тогда я еще ничего не понимал в отношениях его к Надежде Николаевне. Но смутное предчувствие чего-то необыкновенного и таинственного, что должно было случиться между этими людьми, уже и тогда наполняло меня. Я хотел остановить Бессонова в его горячей речи об оппортунизме, хотел прервать его изложение спора о том, развивается ли в России капитализм или не развивается, но всякий раз слово останавливалось у меня в горле.

Я сказал это Гельфрейху. Я сказал ему это так:

— Я сам не знаю, что мешает мне говорить о ней просто. Между ними что-то есть. Я не знаю, что...

Сенечка, — ходивший по комнате, помолчал, подошел к темному окну и, смотря куда-то в черное пространство, ответил:

— А я знаю. Он презирал ее, а теперь начинает любить. Потому что видит... О, какое черствое, эгоистическое сердце и завистливое сердце у этого человека, Андрей! — восклик-

нул он, обратясь ко мне и потрясая обеими руками. — Берегись, Андрей!..

Завистливое сердце? Завистливое... Чему оно может завидовать?

# XI

**И**з дневника Бессонова. Вчера Лопатин с Гельфрейхом встретили нас с Надей. Вопреки моему желанию, они познакомились. Сегодня утром я поехал к нему и хотел не допустить этого сближения, но не был в состоянии ничего сделать. Они будут видаться, будут каждый день просиживать по несколько часов вместе, и я знаю, чем это кончится.

Я тщетно стараюсь решить вопрос, почему я принял такое горячее участие во всем этом деле? Не все ли мне равно? Положим, я знаю Лопатина много лет и, кажется, искренно симпатизирую этому талантливому юноше. Я не хотел бы ему зла, а сближение с падшей женщиной, прошедшей огонь и воду, это — зло, особенно для такой нетронутой натуры, как он. Я знаю эту женщину сравнительно давно. Я узнал ее, когда она уже была тем, что есть. Я должен признаться перед самим собою, что было время, когда слабость овладела мной, и я, увлеченный ее не совсем обыкновенной внешностью и, как мне казалось, недюжинным внутренним содержанием, ду-

мал о ней больше, чем бы следовало. Но скоро я победил себя. Зная уже давно, что легче «верблюду пройти в игольное ушко», чем женщине, вкусившей этого яда, вернуться к нормальной и честной жизни, и присматриваясь к ней самой, я убедился, что в ней нет никаких задатков для того, чтобы она могла составить исключение из общего правила, и с болью в душе я решил предоставить ее судьбе. Тем не менее я продолжал с нею видеться.

Никогда не прощу себе ошибки, сделанной мною в тот вечер, когда Лопатин пришел жаловаться на свою неудачу. Я проговорился ему, сказав, что у меня есть на примете субъект, годный в натурщицы. Не понимаю, как Гельфрейх не сообщил ему об этом раньше: он знает ее так же давно, как я, если еще не дольше.

Моя неосторожность и запальчивость сегодня погубили все дело. Следовало быть мягче; я же вывел этого мягкосердечного человека из себя. Он схватил какое-то копьё и воткнул его в пол, так что стекла задрожали, и я, видя, что он раздражен до последней степени, должен был уйти.

Я несколько дней не видел Лопатина. Вчера встретил на улице Гельфрейха и осторожно навел разговор на его приятеля.

Она бывает у него каждый день; картина подвигается быстро. Как она себя ведет? Скромно, с достоинством. Всегда молчит. Одежда в черное, бедно. Берет за сеансы деньги. Ну, а Лопатин? Лопатин очень рад, что нашел себе такую натурщицу; сначала очень повеселел, а теперь немного задумывается.

— Я не знаю, Бессонов, почему вы так интересуетесь всем этим, — сказал мне в заключение горбатый. — Вы никогда не принимали в этой женщине никакого участия. А было время, когда вы легко могли бы спасти ее... Теперь уже, конечно, поздно... то есть поздно для вас...

Поздно для вас!.. Поздно для вас!.. Что он хотел сказать этим? Не то ли, что если поздно для меня, то не поздно для его друга? Глупцы!

Как! И этот Гельфрейх, который считает себя его другом, который знает лучше, чем я, его отношения к сестре-невесте, — и он не понимает, какое зло творят они? Они не спасут эту женщину; Лопатин разобьет сердце любя-

щей девушки и свое...

Я чувствую, что я должен, обязан сделать что-нибудь. Я пойду завтра к Лопатину днем и постараюсь убедиться сам, как далеко зашло дело. А сегодня отправлюсь к ней.

Я был у нее и не нашел: она переехала неизвестно куда. Мне сказали, что она распродала свои платья. Я попробовал искать ее, но, несмотря на адресный стол и услуги дворников, не мог найти ее следа. Завтра иду к Лопатину.

Необходимо оставить свой прежний образ действий. Я ошибся в Лопатине: я думал, судя по его мягкости, что с ним можно говорить повелительным тоном; нужно сказать, что прежние наши отношения до некоторой степени оправдывали такое мнение. Необходимо, не трогая его, действовать на эту женщину. Было время, когда она, казалось мне, была несколько заинтересована мною. Я думаю, что, если я приложу хоть немного старания, я разлучу их. Быть может, я разбужу в ней старое чувство, и она пойдет за мною.

Ухаживать за Надеждой Николаевной! Эта мысль дика для меня самого, но я останавли-

ваюсь на ней. Я чувствую себя не вправе допустить падение Лопатина и разрушение всей его жизни.

Эта женщина смеется надо мною! Я обратился к ней со всею нежностью, на которую я только способен; я даже, может быть, говорил с нею унижительным для себя тоном, и она ушла, сказав несколько обидных и презрительных слов.

Она удивительно изменилась. Это бледное лицо приобрело какой-то отпечаток достоинства, совершенно не идущий к ее общественному положению. Она скромна и в то же время как будто бы горда. Чем ей гордиться?! Пристально взглядываясь в лицо Лопатина, я думал прочесть на нем историю его отношений к ней. Ничего особенного: он несколько возбужден, но, по-видимому, только своей картиной. Это будет превосходная вещь. Она стоит в холсте как живая.

Я пересилил свой гнев и, не показав вида, что считаю себя оскорбленным, остался с Лопатиным и Гельфрейхом. Мы разговорились, и они внимательно слушали мои поучения, касавшиеся разных предметов, которыми я в

настоящее время занят.

Но что же делать? Оставить дело идти так, как оно идет? Однажды я дал Лопатину обещание не впутывать в это дело его сестры Софьи Михайловны. Я, конечно, должен сдерживать свое обещание. Но не могу ли я написать своей матери? Она хотя редко, но видится с Софьей Михайловной и может рассказать ей. Я не изменю слову и в то же время...

Да, предоставлять такое дело самому себе не следует; я не имею на это никакого права. А эту женщину я заставлю отказаться от ее добычи какими бы то ни было средствами... Нужно только узнать, где она живет. Тогда я поговорю с нею... А теперь оставлю все это и примусь за свою работу. В пустой и бесцельной толчее, которую мы все называем жизнью, есть только одно истинное, безотносительное счастье: удовлетворение работника, когда он, погруженный в свой труд, забывает все мелочи жизни и потом, окончив его, может сказать себе с гордостью: да, сегодня я создал благое.

## XII

Записки Лопатина. Шесть дней прошло после свидания с Бессоновым, а Надежда Николаевна не приходила ко мне. Она прислала только записку, в которой просила извинения и ссылалась на какие-то дела.

Я показал записку Гельфрейху, и мы оба решили, что она нездорова. Нужно было во что бы то ни стало найти ее. Если бы мы знали ее фамилию, можно было бы найти ее адрес в адресном столе; но ни он, ни я не знали ее фамилии. Спрашивать Бессонова было бесполезно. Я отчаивался, но Семен Иванович обещал мне сыскать ее «хоть на дне морском». Встав на другой день рано утром, он оделся с каким-то озабоченным и решительным видом, точно шел на опасную экспедицию, и исчез на целый день.

Оставшись один, я попробовал работать; работа не шла. Я достал с полки книгу и начал читать. Слова и мысли проходили через мою голову, не оставляя следа. Я напрягал свое внимание всеми силами и все-таки не мог одолеть нескольких страниц.

Я закрыл эту книгу — умную и хорошую книгу, которую несколько дней тому назад читал хотя с трудом, но с увлечением и радостью, какую всегда доставляет хорошее чтение, и пошел бродить по городу.

Полусознанная смутная надежда встретить если не Надежду Николаевну, то хоть кого-нибудь, кто дал бы мне какое-нибудь указание, все время не покидала меня, и я все время внимательно всматривался в прохожих и не раз переходил на другую сторону улицы, завидя женщину, сколько-нибудь напоминавшую мне знакомый образ. Но я не встретил никого, кроме капитана Грум-Скжебицкого, в четвертом часу дня (был конец декабря, и уже темнело) прогуливавшегося по Невскому проспекту с важным и осанистым видом. Было очень тепло; капитан шел в довольно щегольском меховом пальто, расстегнутом и раскрытом около шеи; цветной атласный галстук с яркой булавкой выглядывал из меха; шляпа капитана блестела, как полированная, а рукой, обтянутой в модную желтую перчатку с толстыми черными швами, он опирался на трость с большим костяным на-

балдашником.

Увидев меня, он приятно и снисходительно улыбнулся и, сделав приятное движение рукой, подошел ко мне.

— Рад видеть мосье Лопатина, — сказал он. — Весьма приятная встреча. Он пожал мне руку и в ответ на мой вопрос о здоровье продолжал:

— Благодарю вас. Фланируете или же спешите куда-нибудь? Если справедливо первое, то не пройдется ли со мною? Охотно повернул бы вместе с вами, но привычка, мосье Лопатин! Гуляю ежедневно и прохожу Невский два раза туда и назад. Это закон.

Я хотел вернуться домой и поэтому пошел с капитаном. Он с достоинством поддерживал разговор.

— Сегодня вторая приятная встреча, — сказал он. — Виделся я также на Невском с господином Бессоновым и узнал, что он также вам приятель.

— Как, капитан, вы и Бессонова знаете?

— Вы спросите у меня, кого я не знаю! — ответил капитан, пожимая плечами. — И господин Бессонов, будучи студентом, жил в мо-

ем отеле. Мы были хорошими друзьями, благородное слово. Кто только не жил у меня, мосье Лопатин! Многие знатные теперь инженеры, юристы и писатели знают капитана. Да, весьма многие известные люди помнят меня.

И при этом капитан вежливо раскланялся с быстро проходившим мимо господином с озабоченным и умным лицом. Господин молча выразил на лице недоумение, но потом улыбнулся и дружелюбно кивнул капитану.

— Не забывает старых друзей, а уже в высоких чинах, мосье Лопатин, этот господин. Известный инженер Петрищев. Тоже у меня жил студентом.

— А Бессонов? — спросил я.

— И Бессонов прекрасный господин. Несколько слабый относительно прекрасных глаз слабого пола... — прибавил капитан, нагибаясь к моему уху.

Я почувствовал, что сердце у меня забилося сильнее. Мне показалось, что капитан должен знать что-нибудь и о Надежде Николаевне.

Капитан опять раскланялся с каким-то знакомым и продолжал:

— Да, если бы это не был такой прекрасный молодой человек, я бы с ним поссорился, пан Лопатин. Но я помню свою молодость, да кроме того, старый солдат и теперь еще равнодушен к глазам прекрасным...

Он взглянул на меня искоса и подмигнул; прищуренные глазки его сделались немного масляными.

— Капитан, — начал я, — я очень рад, что вы знакомы с Бессоновым... Я, видите ли, не знал этого.

— Да, он жил у меня весьма недолго.

— Не был ли он знаком...

Мне вдруг стало ужасно совестно. Что-то остановило мой язык, готовый произнести имя Надежды Николаевны. Я посмотрел на капитана, впившегося в меня своими внезапно изменившими выражение глазами. Теперь он был похож на ястреба.

— Впрочем, вы, вероятно, не знаете. Извините, — смущенно закончил я. Он посмотрел на меня, придал лицу своему самое беспечное выражение и помахал тростью.

— Да, старому солдату есть что вспом-

нить... — продолжал он, как будто бы я у него ничего не спрашивал. — Шестой десяток начинается, — прибавил он, печально покачав головой. — Завидую, признаться, вам, мосье Лопатин, но завидую только вашим юным годам.

— Где вы служили, капитан? — спросил я, вспомнив слова Гельфрейха. Капитан внезапно еще раз совершенно изменился. Его лицо сделалось

озабоченно-серьезным. Он посмотрел направо, посмотрел налево, обернулся

назад и близко нагнулся к моему лицу, так что даже задел меня за ухо усом.

— Между нами, как между благородными людьми! Вы видите, пан Лопатин, перед собою бойца Мехова и Опатова!

И он, отступив на шаг, посмотрел на меня взором, который, как казалось, требовал изумления. Я сделал усилие, чтобы придать своему лицу приличное случаю выражение.

— Это тайна, которую я доверяю только весьма близким друзьям... — опять прошептал капитан, нагнувшись, и, снова отпрянув от меня, устремил на меня торжествующий

взор.

Мне осталось только выразить ему благодарность за доверие и распрощаться с ним, так как мы подходили к Полицейскому мосту.

Я был недоволен собою; я чуть не назвал имени Надежды Николаевны этому человеку, к которому не чувствовал ни малейшего доверия.

Когда я вернулся домой, Алексеевна объявила мне, что «наш хкошатник» еще не приходил. Она подала мне обедать и стала у дверей, выражая на лице своем горькое соболезнование по случаю моего малого аппетита.

— Что ж ваша-то, Андрей Николаевич, не ходит? — спросила она.

— Заболела, должно быть, Алексеевна.

Она покачала головой и, тяжело вздохнув, вышла в кухню, чтобы принести мне чаю. Я давно уже не обедал иначе, как с Гельфрейхом, и мне было очень скучно.

### XIII

После обеда принесли письмо от Сони.

Я никогда ничего не скрывал от нее. Когда я умру, — а это случится скоро: смерть уже не подкрадывается ко мне, а подходит твердыми шагами, шум которых я ясно слышу в бессонные ночи, когда мне становится хуже и меня больше мучит и болезнь и воскресающее былое, — когда я умру и она прочтет эти записки, пусть знает, что никогда, никогда я не лгал перед нею. Я писал ей обо всем, что думал и чувствовал, и разве только то, чего я сам не подозревал в душе или в чем не сознавался перед самим собою, хотя смутно чувствовал, не попадало в мои длинные письма.

Но она знала меня. Несмотря на свои девятнадцать лет, она чуткой, любящей душой поняла то, в чем я не смел себе сознаться, что ни разу не сказалося в моей голове определенными словами.

«Ты любишь ее, Андрей. Дай бог тебе счастья...»

Я не мог читать дальше. Какая-то большая

волна нахлынула на меня, вошла в меня и почти лишила сознания. Я опустился на спинку кресла и, держа в руках письмо, долго сидел, закрыв глаза и неподвижный, чувствуя только, как эта волна шумела и бушевала в моей душе.

Это была правда: я любил ее. Я не испытал еще до сих пор этого чувства. Я называл любовью свою привязанность к сестре; я готов был через несколько лет сделаться ее мужем и, может быть, был бы счастлив с нею, я не поверил бы, если б мне сказали, что я могу любить другую женщину. Мне казалось, что судьба моя решена: «Вот жена твоя, — сказал мне господь, — и у тебя не должно быть другой», — и в этом я утвердился, спокойный за будущее и уверенный в своем выборе. Любить другую женщину казалось мне ненужной и недостойной прихотью.

И вот пришло это странное и несчастное создание с разбитой жизнью и страданьем в глазах; жалость сперва овладела мною; негодование против человека, выражавшего к ней презрение, сильнее заставило меня взять ее сторону, а потом... Потом я не знаю, как это

случилось... Но Соня была права: я любил ее мучительною и страстною первою любовью человека, до двадцати пяти лет не знавшего любви. Я хотел бы вырвать ее из ужаса, в котором она терзалась, унести на своих руках куда-нибудь далеко, убаюкать ее на своей груди, чтобы она могла забыться, оживить это убитое лицо улыбкой счастья... И Соня сказала мне все это одной строчкой своего письма...

«Обо мне не думай. Я не хочу сказать: забудь меня совсем, но только то, чтобы ты не думал о моем страдании. Я не стану жаловаться на свое разбитое сердце — и знаешь, почему? Потому, что оно вовсе не разбито. Я привыкла смотреть на тебя как на брата и как на жениха: первое было настоящее, а второе, кажется, люди выдумали и навязали нам. Я люблю тебя больше всех на свете; я могла бы и не писать этого потому что ты это знаешь сам; но когда я прочла твое последнее письмо и сказала себе правду о тебе и Надежде Николаевне, — поверь мне, дорогой мой, что ни капли горечи не влилось в мое чувство. Я поняла, что я для тебя сестра, а не же-

на; поняла это из своей радости за твое счастье — радости, смешанной со страхом за тебя. Я не скрываю этого страха; но дай бог тебе спасти ее, и быть счастливым, и сделать ее счастливой».

«Из того, что ты писал мне о Надежде Николаевне, я думаю, что она достойна твоей любви...»

Я читал эти строки, и новое, радостное чувство понемногу овладевало мною. Я не разделял страха Сони: чего было мне бояться? Как и когда это случилось — я не знаю, но я поверил в Надежду Николаевну. Вся ее прошлая жизнь, которой я не знал, и ее падение — единственное, что я знал из ее жизни, — казалось мне чем-то случайным, ненастоящим, какой-то ошибкой судьбы, в которой Надежда Николаевна не была виновата. Что-то налетело на нее, закружило ее, сбilo с ног и повалило в грязь, и я подниму ее из этой грязи, прижму к сердцу и успокою около него эту пострадавшую жизнь.

Сильный, порывистый звонок заставил меня вздрогнуть. Не знаю сам почему, не дождавшись, пока Алексеевна, шлепая туфля-

ми, прибедеет, чтобы отворить дверь, я кинулся к ней и отодвинул засов. Дверь распахнулась, и Семен Иванович, схватив меня обеими руками, припрыгивал на месте и кричал радостным и визгливым голосом:

— Андрей, привел, привел, привел!..

За ним стояла темная фигура. Я кинулся к ней, схватил ее дрожащие руки и начал целовать их, не слушая, что она говорит мне взволнованным, сдерживающим рыдания голосом.

## XIV

**М**ы долго просидели втроем в этот памятный для меня вечер. Мы говорили, шутили, смеялись; Надежда Николаевна была спокойна и даже как будто весела. Я не спрашивал Гельфрейха, где и как он ее нашел, и он сам не заикнулся об этом ни одним словом. Между мною и ею не было сказано ничего, что намекало бы на то, что я передумал и перечувствовал перед ее приходом. Я не могу сказать, чтобы скромность или нерешительность заставляли меня сдерживаться: я просто считал это ненужным и лишним; я боялся растревожить ее израненную душу. Я был разговорчив и весел, как никогда; Гельфрейх изъяслял какой-то шумный восторг, сиял, болтал без умолку и иногда своими выходками заставлял улыбаться Надежду Николаевну. Алексеевна накрыла стол и принесла самовар. Устроив все как следует, она стала у притолоки и, подперши одну щеку рукою, несколько минут смотрела на всех нас и на то, как Надежда Николаевна заваривала чай и хозяйничала.

— Вам нужно что-нибудь, Алексеевна? — спросил я.

— Ничего, милый, мне не нужно, так посмотреть на вас только... Уж и обиделся! — сказала она: — нельзя старухе и постоять! Вот смотрю, как у вас барышня вместо хозяйки. Так-то оно хорошо!

Надежда Николаевна опустила голову.

— Видишь ты, как славно. А то все мужчины да мужчины: и чай разливать и все. Уж мне-то без хозяйки скучно стало, Андрей Николаевич, правду тебе сказать, уж ты извини меня...

Она повернулась и засеменила своими ногами по коридору. Наша веселость пропала. Надежда Николаевна встала и начала ходить по комнате.

Моя картина стояла в углу. За эти несколько дней я не подходил к ней, и краски успели высохнуть. Надежда Николаевна долго смотрела на свое изображение и потом, обернувшись ко мне, сказала с улыбкой:

— Ну, теперь мы скоро кончим. Я не стану делать вам таких перерывов. Она будет готова задолго до выставки.

— Как вы похожи! — вставил Сенечка.

Она вдруг остановилась, как будто внезапная мысль помешала ей говорить, и с нахмуренным лицом отошла от картины.

— Надежда Николаевна, что с вами? Опять нахмурились! — сказал я.

— Ничего особенного, Андрей Николаевич. Я действительно очень похожа на этой картине. Мне пришло в голову, что меня знают многие, слишком многие... Я представляю себе, как это будет...

Она тяжело дышала, и слезы стояли у нее на глазах.

— Я думаю, сколько придется вам услышать толков, вопросов! — продолжала она. — «Кто она? Откуда вы ее взяли?» И будут спрашивать люди, которые знают, кто я и откуда меня можно было взять...

— Надежда Николаевна...

— Вы не погнушались мною, Андрей Николаевич, вы и мой милый Сенечка; вы посмотрели на меня как на человека... В первый раз за три года это случилось. Я не верила себе... Знаете ли, отчего я ушла от вас? Я думала (простите меня за это!), я думала, что вы как и

все. Я думала: вот и я, мое лицо, мое тело пригодились к чему-нибудь нужному, и поэтому пришла к вам. Картина подходила к концу, вы были со мной вежливы и деликатны; я уже отвыкла от такого отношения и не верила себе. Я не хотела испытать одного удара, потому что от этого удара мне было бы очень больно, очень больно... Она села в глубокое кресло и приложила платок к глазам.

— Простите меня, — продолжала она. — Я не верила вам, я с ужасом ждала той минуты, когда вы, наконец, посмотрите на меня тем взглядом, к которому я уже слишком привыкла за эти три года, потому что никто за эти три года не смотрел мне в лицо иначе...

Она остановилась; лицо ее судорожно искажилось, и губы задрожали. Она смотрела в дальний угол комнаты, как будто бы видела там что-то.

— Был один, только один, который смотрел не так, как все... и не так, как вы. Но я...

Мы с Гельфрейхом слушали ее, затаив дыхание.

— Но я убила его... — едва слышно выговорила она.

И страшный приступ отчаяния овладел ею: вопль вырвался из измученной груди, и жалкие, детские рыдания огласили комнату.

**И**з дневника Бессонова. Я жду, что будет. Я был недавно там и видел их вместе. Всей силы воли, какая у меня есть, было недостаточно, чтобы продолжать носить на себе надетую мною маску равнодушия и вежливости: я почувствовал, что если пробуду еще четверть часа, то сброшу ее и покажу им самого себя.

Этой женщины нельзя узнать. Я помню ее три года и привык видеть в ней то, чем она была в эти года. Теперь я вижу происшедшую в ней перемену, и не понимаю ее, и не знаю, истинна ли эта перемена и не составляет ли она только роли, искусно разыгрываемой привыкшим к обману себя и других презренным существом.

Я ничего не понял в их отношениях. Я не знаю даже, сделалась ли она его любовницей. Думаю почему-то, что нет. И если это правда, то она искуснее, чем я думал. К чему она стремится? Сделаться его женой?

Я перечитал эти несколько строк и вижу, что все написанное в них неправда, кроме то-

го, что она изменилась. Я сам, три года тому назад, видел в ней что-то не совсем обыкновенное, редко встречающееся среди женщин в ее положении. Я сам чуть не принял на себя роль спасителя, которую теперь великодушно разыгрывает Лопатин. Но я был опытнее тогда, чем он теперь: я знал, что из этого ничего не выйдет, и отступил, даже не пробуя сделать что-нибудь. Ее натура представляла, кроме общих препятствий в этом отношении, одно специальное: это — какое-то страшное упорство и дерзость. Я увидел, что она махнула рукой на все и воспротивится при первой же моей попытке. Я не сделал этой попытки.

Сделал ли ее Лопатин? Не знаю. Вижу только, что эту женщину нельзя узнать. Что она бросила свою прежнюю жизнь — я знаю наверное. Она переехала в какую-то каморку, куда не пускает ни Гельфрейха, ни этого спасителя, ходит на сеансы к нему и, кроме того, шьет. Она живет очень бедно. Она похожа теперь на пьяницу, давшего зарок не пить. Выдержит ли она его? Поможет ли ей в этом этот сентиментальный артист, не видевший жизни, ничего в ней не понимающий?

Вчера я написал матери подробное письмо. Она, наверное, сделает все так, как я предполагаю, — женщины любят вмешиваться в подобные истории, — и передаст все Софье Михайловне. Может быть, хоть это спасет его.

Спаси его! Отчего я забочусь об этом спасении? Первый раз в жизни я так глубоко задет чужими делами. Не все ли мне равно, сойдется ли Лопатин с этой женщиной или нет, вытащит ли ее из грязи или сам опустится до нее и в бесплодных попытках разобьет свою жизнь, зарует и забросит свой талант? Я не привык рефлексировать, копаться в своей душе; мне в первый раз в жизни приходится глубоко заглядывать в нее и подробно анализировать свои чувства. Я не могу понять, что происходит в моей душе теперь и что заставляет меня выходить из себя. Я думал (и теперь думаю), что только бескорыстное желание предотвратить крупное несчастье человека, к которому я расположен... Но внимательно вслушиваясь в свои мысли, я вижу, что тут что-то не так. Отчего я, желая спасти его, думаю больше о ней; отчего ее лицо, когда-то буйное и задорное, а теперь поникшее

и кроткое, представляется моему воображению каждую минуту; отчего она, а не он, наполняет мою душу странным чувством, в котором я никак не могу разобраться и в котором преобладают недобрые чувства? Да, быть может, это правда: я не столько хочу ему сделать добро, сколько ей...

Чего? Зла? Нет, я не хочу сделать ей зла. И между тем, я хотел бы оторвать ее от него, лишить ее этого покровительства, в котором, быть может, вся ее надежда... О, неужели я хотел бы стать на место Лопатина!

Я должен видеть ее сегодня. Вся эта история не дает мне спокойно жить и спокойно трудиться. Моя работа идет вяло, и в эти две недели я не сделал и столько, сколько в прежнее время делал в два дня. Нужно как-нибудь покончить этот вопрос: объяснить, объяснить все самому себе... и что же потом?

Отступить? Никогда! Вся моя гордость подымается при одном таком предположении. Я нашел ее. Я мог спасти и не захотел. Теперь я хочу.

## XVI

Записки Лопатина. Гельфрейх побежал за доктором, жившим на одной с нами лестнице; я принес воды, и скоро истерический припадок прошел. Надежда Николаевна сидела в углу дивана, на который мы с Гельфрейхом перенесли ее, и только изредка тихонько всхлипывала. Я боялся потревожить ее и ушел в другую комнату.

Не найдя доктора, Семен Иванович пришел назад и застал ее уже успокоившеюся.

Она собралась идти домой, и он изъявил желание проводить ее. Она пожала мою руку, смотря мне прямо в глаза своими полными слез глазами, и я видел на ее лице какую-то боязливую благодарность.

Прошла неделя, другая, месяц. Наши сеансы продолжались. Сказать по правде, я старался растянуть их; я не знаю, понимала ли она, что я делаю это с намерением, но только она часто торопила меня. Она стала спокойнее и иногда, правда редко, бывала весела.

Она рассказала мне всю свою историю. Я долго думал над вопросом: занести ли мне и

эту историю в свои записки или нет? Я решаюсь умолчать о ней. Кто знает, в чьи руки может попасть эта тетрадь? Если бы я наверное знал, что ее будут читать только Соня и Гельфрейх, то и тогда я не стал бы говорить здесь о прошлом Надежды Николаевны: они оба знают это прошлое хорошо. Я по-прежнему ничего не скрывал от сестры и в письмах тогда же передал ей весь долгий и горький рассказ Надежды Николаевны. Гельфрейх знал все от нее самой. Следовательно, им ее история в моих записках не нужна. Другие же... я не хочу, чтобы ее судили другие! Я узнал всю ее жизнь, и был ее судьей, и я простил ей все, что, по мнению людей, нуждается в прощении. Я слушал ее тяжелую исповедь и рассказ о своих бедствиях, самых страшных бедствиях, которые только может испытать женщина, и не обвинение шевелилось в моей душе, а стыд и унижительное чувство человека, считающего себя виновным в зле, о котором ему говорят. Последний эпизод ее истории наполнил меня ужасом и жалостью: слова ее в тот вечер, когда ее привел Гельфрейх и с нею сделался припадок, были не пустые слова. Она

действительно убила человека, сама того не зная. Он хотел спасти ее, но не мог. Его слабые руки не в силах были удержать ее на краю пропасти, и не удержав ее, он кинулся в пропасть сам. Он застрелился. Без слез, с какою-то застывшею решимостью, она рассказывала мне эту ужасную историю, и я долго думал над ней. Может ли воскреснуть ее разбитое сердце, заживут ли такие страшные раны?

Но раны, казалось, заживали. Она становилась спокойнее и спокойнее, и улыбка уже не так редко появлялась на ее лице. Она приходила ко мне каждый день и оставалась у нас обедать. После обеда мы долго сидели втроем, и чего-чего только не было переговорено в эти тихие часы между мной и Гельфрейхом! Надежда Николаевна только изредка вставляла свое слово.

Я хорошо помню один из этих разговоров. Гельфрейх, все еще не бросая своих котов, начал усердно заниматься писаньем этюдов. Однажды он признался, что работает так усердно только потому, что задумал картину, которую напишет, «может быть, через пять, а мо-

жет быть, и через десять лет».

— Отчего же так долго, Сенечка? — спросил я с невольной улыбкой при виде важности, с какою он излагал свое намерение.

— Оттого, что это серьезная вещь. Это дело жизни, Андрей. Ты думаешь, что только люди высокого роста, с прямою спиною и прямою грудью, могут задумывать серьезные вещи? О вы, чванные дылды! Верь мне, — продолжал он с напускной важностью, — что между этими горбами могут жить великие чувства, а в этом длинном ящике (он стукнул себя по талии) рождаются великие мысли.

— Эта великая мысль — секрет? — спросила Надежда Николаевна.

Он посмотрел на нас обоих и, помолчав, сказал:

— Нет, не секрет. Я расскажу вам. Мысль эта пришла мне в голову уже давно. Слушайте. Как-то раз Владимир Красное Солнышко рассердился за смелые слова на Илью Муромца; приказал он взять его, отвести в глубокие погреба и там запереть и землей засыпать. Отвели старого казака на смерть. Но, как это всегда бывает, княгиня Евпраксеюшка «в те

поры догадлива была»: она нашла к Илье какой-то ход и посылала ему по просфоре в день, да воды, да свечей восковых, чтобы читать евангелие. И евангелие прислала.

Сенечка замолчал и задумался и молчал так долго, что я, наконец, сказал:

— Ну, Семен Иваныч?

— Ну, вот и все. Конечно, скоро старый казак понадобился князю: пришли татары, и некому было выручить Киев из беды. Пожалел тогда Владимир, горько пожалел. А Евпраксеюшка послала тотчас же людей, чтобы шли в подвалы глубокие и выводили Илью за белы руки. Зла Илья не помнил, сел на коня, ну и так далее. Переколотил татар — вот и все.

— Где же тут картина, Семен Иванович?

Семен посмотрел на меня с выражением преувеличенного изумления и всплеснул руками:

— Художник! Художник! Да еще Лопатин, Андрей Лопатин! Да тут тридцать, триста, три тысячи картин, если хочешь, но я из них выбираю одну и напишу ее; умру, а напишу! Разве ты не видишь, как он сидит в погребе? Раз-

ве не представляется это тебе, как живое? Ну, вот тебе: пещера, погреб, вообще нора какая-нибудь вроде киевских пещер. Узкие переходы, и в стене небольшая ниша. Пыль, плесень, что-то страшное, фантастическое, еще более фантастическое от света восковой свечи. И сидит Илья на приступке, перед ним аналой, и лежит на аналое большая старая святая книга с толстыми покоробившимися, пожелтевшими листьями пергамента, и литеры в ней черные и красные. Сидит старый казак в одной рубахе и внимательно читает, переворачивая непослушные листы книги большими мужицкими, неловкими руками, привыкшими к поводу, и копьё, и к мечу, а то и просто к дубине. Много потрудились эти руки и от сильной работы, что всю жизнь они делали, дрожат и ходенем ходят, и с трудом переворачивают листы святой книги...

— Эх, брат, — вдруг перебил свою речь Гельфрейх, — одна беда: очков тогда не было. Если бы они были, непременно Евпраксеюшка ему бы очки послала, большие, круглые, в серебряной оправе. Ведь он дальнорок должен был быть от жизни в степи? Как вы дума-

ете?

Мы оба расхохотались. Гельфрейх в недоумении посмотрел на нас, потом как будто понял, чему мы смеемся, и улыбнулся сам. Но торжественное настроение его рассказа опять взяло верх, и он продолжал:

— Не стану вам говорить, какие у него глаза: это описывать всего труднее. И в глазах-то у меня все. В глазах и губах. Ну, так вот, он сидит и читает. И раскрыл он место о нагорной проповеди, и читает он о том, что, получивши удар, надо поставить себя под другой. И читает он это место и не понимает. Всю жизнь трудился Илья не покладая рук; печенегов, и татар, и разбойников извел великое множество; разных Тугаринов Змеевичей, и Идолиц Поганных, и полениц, и жидовинов побеждал; век прожил в подвигах и на заставах, не пропуская злого в крещеную Русь; и верил он во Христа, и молился ему, и думал, что исполняет Христовы заповеди. Не знал он, что написано в книге. И теперь он сидит и думает: «Если ударят в правую щеку, подставить левую? Как же это так, господи? Хорошо, если ударят меня, а если женщину обидят,

или ребенка тронут, или наедет поганый да начнет грабить и убивать твоих, господи, слуг? Не трогать? Оставить, чтобы грабил и убивал? Нет, господи, не могу я послушаться тебя! Сяду я на коня, возьму копьё в руки и поеду биться во имя твое, ибо не понимаю я твоей мудрости, а дал ты мне в душу голос, и я слушаю его, а не тебя!..» И рука его дрожит, и дрожит в ней желтый лист книги с красными и черными литерами. Свеча горит тусклым пламенем; над нею тонкая черная струйка копоти вьется и уходит в темноту. И освещены этим светом только Илья да книга, только их двое...

Семен Иваныч замолчал и задумался, откинувшись на спинку кресла и подняв глаза в потолок.

— Да, — сказал я после долгого молчания, — это хорошая картина, Сенечка. Только это лучше рассказалось, чем напишется красками на полотне. Как ты выразишь все это?

— Сделаю, непременно сделаю, все сделаю! — с жаром воскликнул Сенечка. — Сделаю! Поставлю этот вопросительный знак. Илья — и евангелие. Что общего между ни-

ми? Для этой книги нет большего греха, как убийство, а Илья всю жизнь убивал. И ездит-то он на своем жеребчике, весь обвешанный орудиями казни — не убийства, а казни, ибо он казнит. А когда ему не хватает этого арсенала или его нет с ним, тогда он в шапку песку насыплет и им действует. А ведь он святой. Видел я его в Киеве... Лежит вместе со всеми. И справедливо...

— Все это так, Сенечка, но я не то хотел тебе сказать. Не выразят этого краски.

— Как не выразят? Вздор! Если и не выразят всего, так что ж за беда? Вопрос поставят... Пстой, пстой! — горячился Семен, видя, что я хочу его перебить. — Ты скажешь, что вопрос уже поставлен? Верно! Но этого мало. Нужно задавать его каждый день, каждый час, каждое мгновенье. Нужно, чтобы он не давал людям покоя. И если я думаю, что мне удастся хоть десятку людей задать этот вопрос картиной, я должен написать эту картину. Я давно думал об этом, да вот эти все сбивали.

Он нагнулся, взял с пола сидевшего на ковре рыжего кота, который, казалось, внима-

тельно слушал его речи, и посадил к себе на колени.

— Разве ты не делаешь того же самого? — продолжал Сенечка. — Разве твоя картина не тот же вопрос? Разве ты знаешь, хорошо ли поступила эта женщина? Ты заставишь думать людей, вот и все. И кроме эстетического чувства, которое возбуждает всякая картина и которое одно, само по себе, стоит не очень-то много, не в этом ли смысл того, над чем мы трудимся?

— Семен Иванович, Сенечка, милый мой, — сказала вдруг Надежда Николаевна, — я никогда не видела вас таким. Я всегда знала, что у вас прекрасное сердце, но...

— Но вы думали, что я глупенький горбунчик? Помните, раз вы так называли меня?

Он посмотрел на нее и, должно быть, заметив тень на ее лице, прибавил:

— Простите, что я вспоминаю. Эти годы нужно вычеркнуть из памяти. Все пойдет хорошо. Ведь правда, Андрей, все пойдет хорошо?

Я кивнул ему головой. Я был тогда очень счастлив: я видел, что Надежда Николаевна

понемногу успокаивается, и — кто знает? — может быть, жизнь ее за последние три года сделается для нее только далеким воспоминанием, не пережитыми годами, а лишь смутным и тяжелым сновидением, после которого, открыв глаза и видя, что ночь тиха, что в комнате все по-прежнему, радуешься, что это был только сон.

## XVII

Зима проходила. Солнце подымалось все выше и выше и все сильнее пригревало петербургские улицы и кровли: повсюду из труб шумела вода, и талый лед с громом выкатывался из них. Показались дрожки, гремевшие по кое-где обнаженной мостовой с новым, воскресшим для уха звуком.

Я кончил картину. Еще несколько сеансов, и можно будет нести ее в академию на суд экспертов выставки. Гельфрейх заранее поздравлял меня с успехом. Надежда Николаевна радовалась, глядя на картину, и на ее лице я часто видел незнакомое мне до сих пор выражение спокойного удовольствия. Иногда она даже была весела и шутила, большею частью над Сенечкой; Сенечка же весь погрузился в чтение множества книг, которые ему нужно было прочесть, по его словам, для картины, в рассматривание альбомов со всякими древностями и изучение евангелия. Его коты разбежались; остался только один непременный рыжий кот, да и тот жил на покое, почти не тревожимый своим хозяином для отпра-

ления должности натурщика. Со времени нашего разговора об Илье Муромце Семен Иванович написал только одну картинку и, продав ее за полтораста рублей, считал себя обеспеченным деньгами надолго, тем более что он, к моему великому удивлению, нисколько не стеснялся своим долговременным пребыванием в моем жилище, где жизнь ему ничего не стоила.

Мы проводили втроем почти все свободное время.

Гельфрейх достал где-то для Надежды Николаевны огромную рукопись, содержащую в себе проект какого-то важного лица, — проект, по которому Россия должна была быть благодетельствована в самом непродолжительном времени, и она переписывала ее щегольским крупным почерком. Так как благодетельствование России требовало большой работы мысли, то проект исправлялся и дополнялся без конца и, кажется, и до сих пор не приведен к окончанию. Кто-то переписывает его теперь, после Надежды Николаевны?

Как бы то ни было, она не бедствовала. То, что она зарабатывала перепиской, и денег,

получаемых от меня за сеансы, ей хватало. Она жила в той же самой маленькой комнате, куда переехала, скрывшись от нас. Это была узенькая низкая комната, с одним окном, выходящим куда-то в стену; кровать, комод, два стула и ломберный стол, служивший и для письма, и для чая, и для обеда, составляли все убранство. Когда приходили мы с Сенечкой, он отправлялся к хозяйке в кухню и выпрашивал себе табурет. Впрочем, эти посещения случались редко: неприветлива и мрачна была эта комната, с которой Надежда Николаевна ни за что не хотела расстаться. Большею частью мы собирались у нас с Семеном Ивановичем, где было и просторно и светло.

Я ни разу не говорил с нею о том, что происходило в моей душе. Я был спокоен и счастлив настоящим; я понимал, что неосторожное прикосновение к ее, быть может, незакрывшимся душевным ранам больно отзовется на ней. Я мог потерять ее навсегда, если бы теперь же стал настаивать на приведении в исполнение своей заветной мысли, своего желания и надежды. Может быть, я не мог бы держать себя так спокойно и сдерживаться

так долго, если бы эта надежда не была так сильна. Я твердо верил, что пройдет еще полгода, год, даже два (время не пугало меня), и она, успокоенная и выздоровевшая, увидит около себя твердую опору, на которую можно положиться, и сделается моею на всю жизнь. Я даже не надеялся, я прямо знал, что она будет моей женой.

Не знаю, видел ли это Бессонов... Он иногда приходил к нам, нарушая наше спокойствие и внося неловкость в наши разговоры. По-видимому, он был спокоен и хладнокровно смотрел на Надежду Николаевну. Она не заговаривала с ним, хотя отвечала ему на его вопросы и слушала его длинные разговоры о самых разнообразных предметах. Он был очень начитан и говорил хорошо. Отчего-то мне казалось, что он сделался таким словоохотливым и поучительным, чтобы скрывать от нас что-то прятанное за его гладкой речью и не дававшее ему покоя. После я узнал, что это было так, что своим внешним спокойствием он скрывал смертельную язву, убивавшую его, как тот святой французский священник, слывший неуязвимым и в битвах носив-

ший красный плащ, чтобы не видно было крови, лившейся из его ран. Но когда я узнал это, уже было поздно.

Зачем-то он опять перебрался к капитану. Один раз я был у него. Новая комната его, как и прежняя, была вся завалена книгами, газетами и бумагами, но мне показалось, что все это лежало в большом беспорядке и покрытое пылью, как будто давно уже никто не притрогивался к работе в этой комнате. Дома он держал себя иначе, чем у нас, в присутствии Надежды Николаевны; говорил мало и мрачно шагал из угла в угол, покуривая папиросу. Я чувствовал, что я лишний, и решил больше не ходить к нему. Я спросил у него, между прочим, не знает ли он чего-нибудь о капитане и правда ли, что капитан «боец Мехова и Опатова».

— Сочиняет, — сказал Бессонов. — Он и поляк-то не настоящий. Он перешел в православие когда-то очень давно, и я думаю, что он просто хочет импонировать молодым людям, когда открывает им свою мнимую тайну.

Я ушел от Бессонова. Скоро два случая открыли мне глаза на его поведение.

Во-первых, Соня прислала мне письмо с описанием разговора, происшедшего между нею и матерью Бессонова. Старушка иногда заходила к ней в институт в приемные часы, помня участие, которое всегда принимала в ней и в ее сыне Сониная мать. По словам сестры, на этот раз она пришла с взволнованным и таинственным видом и после нескольких неловких предисловий обнаружила, зачем именно явилась. Сергей Васильевич написал ей подробно обо всем происходившем у нас. Ему не хватало черной краски, чтобы представить положение дела в таком мрачном виде, как ему хотелось. Он не просил мать передать содержание письма Соне, но сама старушка, из чувства благодарности, решила пойти и рассказать все, с целью предупредить ее, чтобы она действовала, пока еще можно спасти меня. Она была очень удивлена, узнав, что сестре все уже известно. Она волновалась. Ей, старой женщине, стыдно было говорить молодой девушке, да еще институтке, о подобных вещах; но что же делать? Нужно спасти несчастного Андрюшу во что бы то ни стало. На месте Сони она вышла бы

из института и сейчас же поехала бы в Петербург, чтобы открыть мне глаза.

«Сергей Васильевич, — писала Соня, — играет во всей этой истории какую-то странную роль. Я не верю, чтобы он написал все это матери, не зная, что она наверное передаст все мне, и, скажу больше, не желая, чтобы она передала.

„Я приеду к тебе в Петербург, но только после экзаменов. Если ты согласишься, мы проживем лето где-нибудь на даче, и я немного подготовлюсь, чтобы не было трудно на первых порах на курсах“».

Это письмо расстроило меня, но полученное вслед за ним второе, длинное анонимное послание, переполнило чашу.

В высокопарных, кудреватых выражениях неизвестный автор предостерегал меня против печальной судьбы всех молодых людей, слепо предающихся своим страстям и не разбирающих достоинств и недостатков существа, с которым намеревается вступить в союз, «узы какового легки и незаметны вначале, но впоследствии превращаются в тяжкую цепь, подобную той, какую влачат несчаст-

ные каторжники». Так выразался неизвестный автор письма... «Верьте благородному слову опытного старца, господин Лопатин, что неравенство в браке есть вещь весьма ужасная. Вещь эта лишила мир многих великих талантов; прошу то помнить, господин Лопатин». Затем следовал целый обвинительный акт против «Надежды», душа которой называлась даже «добычею пекла» (тут я уже решительно узнал руку капитана). Она обвинялась в долгой развратной жизни, из которой могла бы выйти, если бы захотела, «ибо имеет родственников своей фамилии, хотя весьма удаленных, которые — я уверен в том — извлекли бы падшую из ее социального положения, но, по натуральной склонности сей особы к разврату, она предпочитала погрязать в болоте, из которого вы тщетно имеете намерение спасти ее, причем, без сомнения, погубите и жизнь свою и чудный ваш талант». Она обвинялась в убийстве человека, «и также весьма порядочного господина, не отличавшегося талантами, подобно вам, но прекрасного человека, получавшего на службе пятьдесят рублей в месяц и имев-

шего в виду увеличить свое содержание, которое было бы весьма достаточно для жизни их обоих, ибо на что же могло рассчитывать подобное существо, как эта презренная, которая, однако, по склонности своей, предпочла отказать этому молодому человеку, господину Никитину, в браке, лишь бы продолжать гнусную жизнь свою?..»

Письмо было очень длинное; я не дочитал и бросил его в топившуюся печку. Участие Бессонова в этом деле для меня показалось несомненным. С какой стати капитану заботиться о спасении моей души? Вся кровь бросилась мне в голову, и первым моим движением было бежать к Бессонову. Я не знаю, что бы я с ним сделал. О капитане я не думал: этот ренегат, скрывающий свое ренегатство, был уговорен, подпоен, может быть, чем-нибудь запуган. Я схватил шляпу и был уже у дверей, когда опомнился. Лучше было прежде успокоиться и потом уже решить, что делать.

Я утвердился в этом решении и, в ожидании Надежды Николаевны, попробовал писать кое-какие аксессуары картины, думая успокоиться в работе; но кисть прыгала по

холсту, и глаза не видели красок. Я оделся, чтобы выйти и освежиться на воздухе; отворив дверь, я увидел, что перед ней стоит Надежда Николаевна, бледная, задыхающаяся, с выражением ужаса в широко раскрытых глазах.

## XVIII

**И**з дневника Бессонова. Тоска! Тоска эта преследует меня, где бы я ни был, что бы я ни делал, чтобы забыть, утолить ее чем-нибудь. Глаза мои, наконец, открылись; с тех пор как я ничего не записываю в этот дневник, прошел месяц, и в этот месяц решилось все. Куда девалось это хваленое философское спокойствие? Где мои бессонные ночи, проводимые за работой? Я, тот самый я, который гордился тем, что имею характер в наше бесхарактерное время, смят и уничтожен налетевшей бурей... Какой бурей? Разве это буря? Я презираю себя, презираю за свою прежнюю гордость, которая не помешала мне склониться перед пустой страстью; презираю за то, что позволил этому дьяволу в образе женщины овладеть своей душой. Да, если бы во мне жила вера в сверхъестественное, я не мог бы иначе объяснить случившееся, как наваждением.

Перечитал написанные строчки... Что за унижительные, жалкие жалобы! О, где ты, моя гордость, где сила воли, дававшая мне воз-

возможность переламывать себя и жить не так, как живется, а как я хотел жить? Я унизился до мелочной интриги: написал письмо матери, и она, без сомнения, рассказала все, что я хотел, его сестре, и из этого ничего не вышло, в нетерпении я заставил старого дурака написать безграмотное письмо Лопатину — и из этого ничего не выйдет, я знаю это. Он бросит письмо в огонь, или, еще хуже, он покажет его ей, своей любовнице, и они вместе будут читать его, потешаться над безграмотными излияниями капитанской души и будут издеваться надо мной, потому что поймут, что некому было, кроме меня, толкнуть капитана на эту пошлость.

Его любовнице! Так ли это? Слово сорвалось у меня с пера, но я до сих пор не знаю, правда ли это? А если это не так? Если для меня есть еще надежда? Что заставляет меня думать, что он полюбил ее, кроме смутных подозрений, возбужденных безумной ревностью?

Три года тому назад все было возможно и легко. Я лгал в этом самом дневнике, когда писал, что отказался от нее, потому что уви-

дел невозможность спасти. Если не лгал, то обманывал себя. Ее легко было спасти: нужно было только наклониться и поднять ее. Я не захотел наклониться. Я понял это только теперь, когда мое сердце болит любовью к ней. Любовью! Нет, это не любовь, это страсть безумная, это пожар, в котором я весь горю. Чем потушить его?

Я пойду к ней и поговорю с нею. Я соберу все свои силы и буду говорить спокойно. Пусть она выбирает между мною и им. Я скажу только правду, скажу, что ей нельзя рассчитывать на этого впечатлительного человека, который сегодня думает о ней, а завтра его поглотит что-нибудь другое, и она будет забыта. Иду! Так или иначе, а это нужно кончить. Я слишком измучен и больше не могу...

В тот же день.

Я был у нее. Сейчас иду к нему.

Это последние строки, которые будут написаны в этом дневнике. Ничто не может удержать меня. Нет у меня власти над собою...

# XIX

Записки Лопатина. Зачем тянуть дальше? Не лучше ли кончить свои воспоминания на этих строках?

Нет, я напишу до конца. Все равно: если я и брошу перо и эту тетрадь, этот ужасный день будет переживаться мною в тысячный раз; в тысячный раз я испытаю ужас, и мучения совести, и муки потери; в тысячный раз сцена, о которой я сейчас буду писать, пройдет перед моими глазами во всех своих подробностях, и каждая из этих подробностей ляжет на сердце новым страшным ударом. Буду продолжать и доведу до конца.

Я привел Надежду Николаевну в комнату; она едва стояла на ногах и дрожала, как в лихорадке. Она смотрела на меня все тем же испуганным взглядом и в первую минуту не могла сказать слова. Я усадил ее и дал ей воды.

— Андрей Николаевич, берегитесь. Заприте дверь... не пускайте никого. Он придет сейчас.

— Кто, Бессонов?

— Заприте дверь, — шептала она.

Гнев овладел мною. Ему мало безыменных писем; он дошел до насилия.

— Что он сделал с вами? Где вы его видели? Успокойтесь. Выпейте еще воды и расскажите. Где вы его видели?

— Он был у меня...

— В первый раз?

— Нет, не в первый. Он был еще два раза. Я не хотела говорить вам, чтобы не рассердить вас. Я просила его перестать ходить ко мне; я сказала, что мне тяжело видеть его. Он молча ушел и не был недели три. Сегодня он пришел рано и ждал, пока я оденусь.

Она замолчала; ей было трудно продолжать.

— Что ж дальше?

— Я никогда не видела его таким. Он говорил сначала спокойно. Он говорил о вас. Он не говорил о вас ничего дурного; сказал только, что вы человек впечатлительный и увлекающийся и что я не могу надеяться на вас. Он просто сказал, что вы меня бросите, потому что вам скоро надоест возиться со мной...

Она замолчала и расплакалась. О, никогда

такая любовь и жалость не овладевали мной! Я взял ее холодные руки и целовал их. Я был безумно счастлив; слова без удержу полились из уст моих. Я сказал, что я люблю ее на всю жизнь, что она должна быть моей женой, что она видит и знает, что Бессонов неправ. Я сказал ей тысячу нелепых слов, счастливых слов, по большей части не имевших никакого внешнего смысла, но она поняла их. Я видел ее милое лицо, озаренное счастьем, на моей груди, это было совсем новое, немного чужое лицо, не то лицо с тайным мученьем в чертах, которое я привык видеть.

Она улыбалась, и плакала, и целовала мои руки, и прижималась ко мне. И в ту минуту во всем мире не было ничего, кроме нас двоих. Она говорила что-то о своем счастье и о том, что она полюбила меня с первых же дней нашего знакомства и убегала от меня, испугавшись этой любви; что она не стоит меня, что ей страшно связать мою судьбу со своей; и снова обнимала меня и снова плакала счастливыми слезами. Наконец она опомнилась.

— А Бессонов? — вдруг сказала она.

— Пусть приходит Бессонов, — ответил я. — Какое нам с вами дело до Бессонова?

— Пойдите, я кончу, что начала говорить о нем. Да, он говорил о вас. Потом о себе. Он сказал, что он гораздо более надежная опора, чем вы. Он напомнил мне, что три года тому назад я любила его и пошла бы за ним. И когда я сказала, что он обманывает сам себя, вся его гордость вспыхнула, и он до такой степени вышел из себя, что бросился на меня... Пойдите, сказала Надежда Николаевна, схватив меня за руку, когда увидела, что я вскочил на ноги, — он не тронул меня... Мне жалко его, Андрей Николаевич... он у меня в ногах валялся, этот самолюбивый человек! Если бы вы видели это!

— Что же вы сказали ему?

— Что же было говорить? Я молчала. Я сказала только, что не люблю его. И когда он спросил — не потому ли, что люблю вас, я сказала ему правду... Тогда с ним случилось что-то такое страшное, что я не могу понять. Он кинулся на меня, обнял меня, прошептал мне: «прощай, прощай!» — и пошел к двери. Никогда я не видела такого ужасного лица. Я

упала на стул почти без сил. У двери он обернулся и странно так засмеялся и говорит: «Впрочем, я еще увижусь с тобой и с ним». И лицо его было так ужасно...

Она вдруг перестала говорить и страшно побледнела, устремив глаза ко входу в мастерскую. Я обернулся. В дверях стоял Бессонов.

— Не ждали? — сказал он, заикаясь. — Я не беспокоил вас и прошел с черной лестницы.

Я вскочил на ноги и стал против него. И мы стояли так долго, меряя друг друга глазами. Он был действительно способен навести ужас. Бледный, с красными, воспаленными глазами, с ненавистью устремленными на меня, он ничего не говорил; его тонкие губы только шептали что-то, дрожа. Мне вдруг стало жаль его.

— Сергей Васильевич, зачем вы пришли? Если вы хотите говорить со мной, подите и успокойтесь.

— Я спокоен, Лопатин... Я болен, но спокоен. Я уже решил все, и мне не от чего волноваться.

— Зачем же вы пришли?

— Затем, чтобы сказать вам несколько слов. Вы думаете быть счастливым с ней? — он указал рукою на Надежду Николаевну. — Вы не будете счастливы! Я не позволю вам этого.

— Уйдите отсюда, — сказал я, делая страшные усилия, чтобы говорить спокойно. — Подите, отдохните. Вы сами сказали, что больны.

— Это мое дело. Вы слушайте, что я вам скажу. Я ошибся... Я виноват. Я люблю ее. Отдайте ее мне.

«Он сошел с ума!» — мелькнуло у меня в голове.

— Я не могу жить без нее, — продолжал он глухим и хриплым голосом. — Я не выпущу вас, пока вы не скажете мне «да!»

— Сергей Васильевич!

— И вы скажете мне это «да», или...

Я взял его за плечи и повернул к двери, он шел послушно. Но подойдя к двери, вместо того чтобы взяться за ручку, он повернул ключ, сильным движением оттолкнул меня и стал в угрожающую позу. Надежда Николаевна вскрикнула.

Я увидел, как он переложил ключ в левую руку, а правую опустил в карман. Когда он вынул ее, в ней блестел предмет, которому я тогда не успел дать названия. Но вид этого предмета ужаснул меня. Не помня себя, я схватил стоявшее в углу копьё, и когда он направил револьвер на Надежду Николаевну, я с диким воплем кинулся на него. Все покати-лось куда-то с страшным грохотом.

Тогда началась казнь.

Я не знаю, сколько времени я лежал без сознания. Когда я очнулся, я не помнил ничего. То, что я лежал на полу, то, что я видел сквозь какой-то странный сизый туман потолок, то, что я чувствовал, что в груди у меня есть что-то, мешающее мне двинуться и сказать слово, — все это не удивило меня. Казалось, что все это так и нужно для какого-то дела, которое нужно сделать и которого я никак не мог вспомнить.

Картина! Да. Шарлотта Корде и Илья Муромец... Он сидит и читает, а она переворачивает ему листы и дико смеется... Какие пустяки!.. Это не то; это не тот вопрос, о котором говорит Гельфрейх.

Я делаю движение и чувствую, что мне очень больно. Конечно, это так нужно, иначе и нельзя.

Тишина. Ожившая муха звенит в воздухе и потом бьется в стекло. Рамы еще не вынуты, но сквозь них доходит веселое дребезжание дрожек. Дымок расходится перед моими глазами, странный сизый дымок, и я ясно вижу на потолке грубую лепную розетку вокруг крюка. Я думаю, что это очень странный орнамент; я никогда не замечал его прежде. И кто-то касается моей руки; Я повертываю голову и вижу чью-то руку, маленькую, нежную, белую, лежащую на полу. Я не могу достать ее, мне очень это жаль, потому что это рука Надежды Николаевны, которую я люблю больше всего на свете...

И вдруг яркий луч сознания озаряет меня, и я сразу припоминаю все, что случилось... Он убил ее.

Не может быть! Не может быть! Она жива. Она только ранена. Помогите! Помогите! Я кричу, но звука не слышно. Только какое-то клокотание в груди душит и давит меня, и розовая пена клубится на моих губах. Он убил и

меня.

Собрав силы, я приподнялся и увидел ее лицо. Глаза ее были закрыты, и она была неподвижна. Я чувствовал, как волосы шевелятся на моей голове. Я хотел бы лишиться сознания. Я упал к ней на грудь и покрывал поцелуями это лицо, полчаса тому назад полное жизни и счастья, доверчиво прижимавшееся к моей груди. Теперь оно было неподвижно и строго; маленькая ранка над глазом уже не сочилась кровью. Она была мертва.

Когда выломали дверь и Семен Иванович бросился ко мне, я почувствовал, что меня оставляют последние силы. Меня подняли и положили на диван. Я видел, как взяли и вынесли ее, я хотел крикнуть, просить, умолять, чтобы этого не делали, чтобы оставили ее здесь, подле меня. Но я не мог крикнуть; я только беззвучно шептал, пока доктор осматривал мою простреленную навывлет грудь.

Вынесли и его. Он лежал с суровым и страшным т-цом, залитым кровью, волной хлынувшей из смертельной раны на голове.

Я кончаю. Что еще прибавлять?

Соня приехала сейчас же, вызванная теле-

граммой Семена Ивановича. Меня лечили долго и упорно и продолжают лечить. Соня и Гельфрейх уверены, что я останусь жив. Они хотят везти меня за границу и надеются на это путешествие, как на каменную гору.

Но я чувствую, что мне осталось уже немного дней. Рана моя закрылась, но грудь разрушается другой болезнью: я знаю, что у меня чахотка. И третья, еще более страшная болезнь помогает ей. Я ни на минуту не забываю Надежду Николаевну и Бессонова; страшные подробности последнего дня вечно стоят перед моим душевным взором, и какой-то голос, не переставая, нашептывает мне на ухо о том, что я убил человека.

Меня не судили. «Дело» прекращено: было признано, что я убил, защищаясь.

Но для человеческой совести нет писаных законов, нет учения о невменяемости, и я несу за свое преступление казнь. Мне недолго уже нести ее. Скоро господь простит меня, и мы встретимся все трое там, где наши страсти и страдания покажутся нам ничтожными и потонут в свете вечной любви.

1885 г.

# Комментарий

**Н**адежда Николаевна. Впервые — в журнале «Русская мысль», 1885, № 2, 3. Гаршин работал над повестью дольше, чем над каким-либо другим произведением. В письме к матери от 18 декабря 1879 г. (см.) он сообщает, что повесть продумана уже полтора года назад. 10 августа 1884 г. он сообщает В. М. Латкину (см.), что возобновляет «написание старинной штуки», и за несколько месяцев завершает повесть. В сентябре 1884 г. Гаршин побывал в Киеве, посетил Лавру, — это могло подсказать ему сюжет картины об Илье Муромце.

Отношение к произведению оказалось противоречивым. Наиболее резкий отзыв принадлежит критику А. М. Скабичевскому: «романтическая я мелодраматическая чепуха» (газ. «Новости», 1885, № 84, 28 марта). Н. К. Михайловский признается, что остановился перед повестью «с некоторым не совсем приятным недоумением» (Литературно-критические статьи. М., 1957, с. 293). Но читателей не могли оставить равнодушными напряжен-

ные раздумья автора о необходимости бороться со злом, его страстная вера в силу добра. Эту двойственность восприятия повести отмечает В. Г. Короленко: «...Одновременно и чувство неудовлетворенности, в необыкновенная, незабываемая яркость впечатления» (Собр. соч. в 10-ти т., т. 8. М., 1955, с. 232).

# Примечания

Я сказал (*лат.*).

[^^^]

Вся неделя (*нем.*).

[^^^]